

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Юрий Тынянов  
**ПУШКИН**



Школьная библиотека (Детская литература)

Юрий Тынянов

**Пушкин**

Издательство «Детская литература»

1936

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Тынянов Ю. Н.**

Пушкин / Ю. Н. Тынянов — Издательство «Детская литература»,  
1936 — (Школьная библиотека (Детская литература))

ISBN 978-5-08-005235-4

Роман «Пушкин» советского писателя и литературоведа Ю.Н. Тынянова (1894–1943) посвящен детству, отрочеству и юности поэта. Автор повествует о том, в какой среде воспитывался и развивался талант Александра Пушкина. На основе документальных и мемуарных материалов нарисована картина семейной, частной и бытовой жизни российского общества первых десятилетий XIX века. Широко освещена атмосфера государственной, литературной и интеллектуальной жизни. Писатель сумел запечатлеть не только живой образ Пушкина, но и образы многих персонажей его эпохи. Большое место в книге занимают родители, дядя, поэты Москвы и Петербурга, лицейские профессора и друзья поэта. Для старшего школьного возраста.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-08-005235-4

© Тынянов Ю. Н., 1936  
© Издательство «Детская  
литература», 1936

# Содержание

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| О романе Ю. Н. Тынянова «Пушкин» | 9  |
| Пушкин                           | 12 |
| Часть первая                     | 12 |
| Глава первая                     | 12 |
| 1                                | 12 |
| 2                                | 13 |
| 3                                | 17 |
| 4                                | 18 |
| 5                                | 20 |
| 6                                | 25 |
| 7                                | 31 |
| 8                                | 31 |
| Глава вторая                     | 34 |
| 1                                | 34 |
| 2                                | 35 |
| 3                                | 38 |
| 4                                | 40 |
| 5                                | 42 |
| 6                                | 42 |
| Глава третья                     | 44 |
| 1                                | 44 |
| 2                                | 46 |
| 3                                | 48 |
| Глава четвертая                  | 50 |
| 1                                | 50 |
| 2                                | 53 |
| 3                                | 54 |
| 4                                | 55 |
| 5                                | 56 |
| 6                                | 57 |
| 7                                | 58 |
| 8                                | 59 |
| 9                                | 59 |
| 10                               | 60 |
| 11                               | 61 |
| Глава пятая                      | 61 |
| 1                                | 61 |
| 2                                | 63 |
| 3                                | 65 |
| 4                                | 66 |
| 5                                | 69 |
| 6                                | 71 |
| 7                                | 74 |
| 8                                | 75 |
| Глава шестая                     | 77 |
| 1                                | 77 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 2                                 | 78  |
| 3                                 | 80  |
| Глава седьмая                     | 81  |
| 1                                 | 81  |
| 2                                 | 84  |
| 3                                 | 85  |
| 4                                 | 88  |
| 5                                 | 89  |
| 6                                 | 89  |
| Глава восьмая                     | 93  |
| 1                                 | 93  |
| 2                                 | 95  |
| 3                                 | 98  |
| 4                                 | 99  |
| 5                                 | 101 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 103 |

# **Юрий Николаевич Тынянов**

## **Пушкин**

© Иванова Н. С., комментарии, 2018

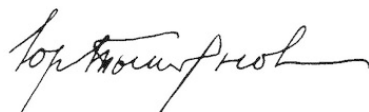
© Симанчук А. И., иллюстрации, 2018

© Оформление серии. АО Издательство «Детская литература», 2018

\* \* \*



**1894–1943**

A handwritten signature in cursive script, which is the signature of Alexander Pushkin.

## О романе Ю. Н. Тынянова «Пушкин»



Начиная работу над романом «Пушкин», Тынянов писал: «Свой роман я задумал не как „романизированную биографию“, а как эпос о рождении, развитии, гибели национального поэта. Я не отделяю в романе жизни героя от его творчества и не отделяю его творчества от истории его страны.

Роман о Пушкине был задуман Тыняновым и первые части его были написаны в годы, предшествовавшие столетней годовщине со дня смерти великого поэта. Изучение Пушкина в это время приняло небывалый размах. Большой коллектив советских ученых обогатил науку о поэте множеством новых фактов и идей. И одно из первых мест занимал Тынянов – автор исследований «Архаисты и Пушкин» (1926), «Пушкин и Тютчев» (1926), «Пушкин» (1929). Художественное наследие Пушкина заново осмыслялось и получало все более глубокое истолкование.

Однако широкое хождение еще имели и разного рода сочинения, в которых образ поэта приобретал несвойственное ему благообразие, а творчество его изолировалось от острейших противоречий эпохи. Именно о подобных сочинениях сказал в стихотворении «Юбилейное» В. В. Маяковский: «Навели хрестоматийный глянец».

Стремление снять с облика поэта «хрестоматийный глянец» принимало в те годы разнообразные формы. В 1927 году В. В. Вересаев издал книгу «Пушкин в жизни» – «систематический свод подлинных свидетельств современников». Она имела огромный успех у читателя. В своем «своде» документов Вересаев хотел, по его словам, представить читателю не иконописный, ретушированный лик благонравного, «ясного» и «гармонического» поэта, а «дитя ничтожного мира», то есть показать Пушкина таким, каким он был не в творчестве, а в жизни. Эта книга многократно переиздавалась и стимулировала появление беллетристических сочинений, написанных под ее влиянием.

Замысел Тынянова был во многом полемически направлен против замысла Вересаева. Тынянов принципиально и решительно отвергал мысль, будто существовало два Пушкина, между которыми было мало общего: один – в «жизни», другой – в «творчестве». Как сообщала печать, Тынянов, касаясь в беседах с читателями концепции своего романа, говорил о стремлении «снять грим, наложенный на великого поэта усилиями биографов, развеять дым легенд, окружающих его имя».

Однако к своей цели Тынянов считал нужным пойти трудным и сложным путем. «Живой Пушкин», а не «Пушкин в жизни» – вот что интересовало писателя. Из поля зрения Вересаева, говорил Тынянов, выпала «творческая судьба поэта», в его книге Пушкин как раз почти не фигурирует. «Если жизнь Пушкина протекала именно так, как это представляет книга Вересаева, когда же поэт работал?» – резонно спрашивал Тынянов.

Труд поэта, подвиг поэта, то есть именно то, благодаря чему Пушкин вошел в историю России, ее культуры и литературы, стали главной темой и главным предметом художественного изображения в романе Тынянова. Тема эта, как можно судить и по высказываниям Тынянова,

и по тем частям романа, которые он успел написать, должна была развиваться в ее сложных и разнообразных аспектах: поэт и класс, из среды которого он вышел; поэт и народ; поэт, национальная история, культура русская и мировая; литературная борьба эпохи и место Пушкина в этой борьбе; поэт, общество, государственная власть, истоки и смысл возникающего между ними непримиримого конфликта.

Книга осталась недописанной. Некоторые из названных проблем и тем еще только затронуты в ней, другие уже разработаны широко и обстоятельно.

Стремясь понять эпоху Пушкина в важнейших ее проявлениях, Тынянов густо «заселил» книгу множеством персонажей из разных социальных и культурных слоев русского общества. Вельможи, сановники, государственные деятели масштаба Сперанского соседствуют тут с мелкой чиновничьей сошкой, передовые деятели русского общества (Куницын, Чаадаев) – с мракобесами и лютыми реакционерами (Аракчеев, Фотий), идеалисты – с умелыми карьеристами, выдающийся поэт Державин – со справедливо позабытыми второстепенными литераторами. Сцены семейные, частные, бытовые неотделимы в романе от сцен, рисующих государственную, культурную, интеллектуальную жизнь эпохи.

И все это подчинено главной задаче – показать, как в борьбе противоречивых общественных сил и тенденций рождался и мужал гениальный художник, на какой почве возникали нетленные творения поэзии «вольности» в самых разных смыслах этого слова. Благодаря такому подходу в романе перед нами возникает образ поэта, в котором художник и гражданин обогащают друг друга, – поэта, не только постигающего свое время, но и далеко опережающего его.

Как и в прежних своих книгах, в «Пушкине» Тынянов широко использовал документальные материалы, в том числе свидетельства и воспоминания современников, но он отдавал себе отчет в том, что в свидетельствах, вызывавших полное доверие Вересаева, предстает не столько подлинный Пушкин, сколько Пушкин, каким он казался или даже хотел казаться постороннему глазу.

В годы, когда шла работа над романом, Тынянов неоднократно сообщал читателям, что новые материалы, на которые он «натолкнулся», меняют многие сложившиеся представления, в том числе и представления о характере лица и лицейской жизни поэта. Наряду с новыми документами не меньшее значение имели использование и переосмысление документов и материалов уже известных – например сохранившихся записей лекций лицейских профессоров и их изданных трудов («Право естественное» Куницына, «Риторика» Кошанского). Все это помогло писателю по-новому понять и воссоздать атмосферу лица.

Однако, разумеется, главную ценность представляли для Тынянова свидетельства, дошедшие до нас от самого Пушкина. Писатель опирался на стихи поэта, его переписку, записи, наброски. В работе над первыми частями романа писатель особое значение придавал пушкинскому плану автобиографии, публикуемому в собраниях его сочинений под названием «Программа записок».

Стоит, однако, сопоставить тот или иной эпизод романа с соответствующей скупой записью в пушкинской «программе» и другими документальными материалами, как сразу же становится ясным, насколько в лице автора романа соединялись исследователь и художник, насколько каждый эпизод книги является плодом интуиции, догадки, вымысла, основанных на глубоком знании и постижении как героя, так и его окружения, всей эпохи в целом.

Если большинство литературоведческих исследований Тынянова о Кюхельбекере появилось после написания «Кюхли», то теперь его работа – исследователя и художника – протекала по-иному. Ряд статей о Пушкине – например, «Пушкин и Кюхельбекер» (1934), «Проза Пушкина» (1937), «Безыменная любовь» (1939) – появился уже в период интенсивного труда над новым романом. При этом в некоторых случаях исследователь опережал художника, в других

– художник явно опережал исследователя, давал ему материал для новых работ по истории и теории литературы. Тынянову, к сожалению, их уже не удалось написать.

В связи с упреками читателей в том, что в первой части книги центральный герой заслонен другими фигурами, Тынянов говорил о специфике исторического романа, о структурных особенностях, отличающих его от жанра исторического рассказа. В рассказе, в новелле центральный герой должен быть включен в действие с самого же начала; в романе, рассчитанном не на один том, такой прием, когда главный герой не сразу становится одним из действующих лиц, вполне целесообразен. «В дальнейшем Пушкин займет в романе то место, которое обусловлено уже самим названием произведения», – обещал Тынянов (Литературная газета. 1935. № 63).

Во второй части романа Пушкин уже выступил на передний план. Работая над третьей частью, которая должна была охватить 1816–1820 годы, Тынянов так определял ее содержание: «Это последние годы, встречи с Чаадаевым, период лицейского вольномыслия. В этой части романа Пушкин предстает уже как политический трибун, показана борьба реакции с Пушкиным» (Литературная газета. 1939. № 7).

Роман остался незавершенным и обрывается на третьей части, которую автор не успел окончательно доработать. Она писалась в эвакуации, в Перми, а затем в Москве тяжелобольным, прикованным к постели человеком, измученным неизлечимым недугом (рассеянный склероз). Тынянов был лишен необходимых материалов и вынужден был писать по памяти. Однако текст каждой главки был им глубоко выношен, обдуман и разработан.

По поэтическому напряжению и художественной силе многие страницы третьей части не только не уступают первым двум, но даже, быть может, и превосходят их. В этой части найден новый стиль повествования: тут нет установки на обстоятельность, на деталь и бытовые подробности, характерной для первых двух частей романа. Повествование движется особой подачей событий и перипетий душевной жизни героя, а полуироническая интонация, окрашивающая многие страницы «Детства» и «Лицея», уступает место интонации поэтически-страстной. Лирически напряженная авторская мысль и речь тут как бы сливаются с мыслью и речью героя, приобретая при этом сходство с речью стиховой. Эти стилистические различия между первыми двумя и третьей частями романа связаны с характером изображаемых событий. Роман начинается бытовыми сценами, завершается же сценами в высокой степени патетическими.

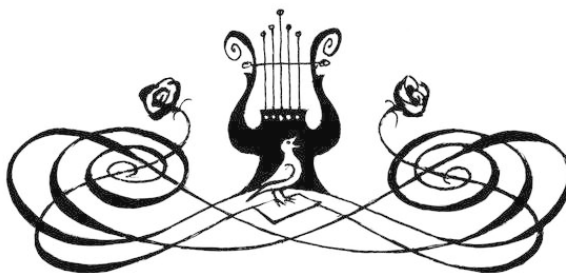
В следующих частях, которые Тынянову написать уже не довелось, повествовательный строй мог бы, по-видимому, претерпеть новые изменения. Авторская доработка третьей части привела бы, очевидно, не к отказу от манеры и интонации, найденных здесь, а к более тщательному и законченному воплощению художественного замысла.

*Б. Костелянец*

# Пушкин



## Часть первая Детство



## Глава первая

### 1

Майор был скуп. Вздохнув, он заперся у себя в комнате и тайком пересчитал деньги.

Вспомнив, что еще в гвардии остался ему должен товарищ сто двадцать рублей, он огорчился. Шикнув на запевшую не вовремя канарейку, переоделся, покрасовался перед зеркалом, обдернулся, взял трость и, выбежав в сени, сухо сказал казачку:

– Собирайся. Да надень что-нибудь почище.

Потом, засеменив к боковой двери, приоткрыл ее и сказал нежно:

– Я пойду, душа моя!

Ответа не было. На цыпочках пройдя к выходу, майор тихонько открыл дверь, стараясь, чтоб не скрипела. Казачок шел за ним с баулом.

Дом стоял во дворе, за домом был сад с цветником, липой и песчаными дорожками. Казачку было велено гнать оттуда соседских кур.

Дворовый пес, заслышав шаги, пророптал во сне. Майор юркнул в калитку. Шел он довольно свободно, но было видно, что опасается, как бы не окликнули.

Он пошел по улице. Немецкая улица, где он жил, была скучна: длинный, серебристый от многолетних дождей забор, слепой образок на воротах и – грязь. Дождя давно не было, а грязь всё лежала – комьями, обломками, колеями. Шли какие-то немцы-мастеровые, баба несла гуся. Он не взглянул на них. Переулками он вышел к Разгуляю – местности, получившей свое название от славного кабака. Здесь он стал нанимать дрожки, торгуясь с извозчиком, причем лицо его сделалось необыкновенно черствым; извозчика нанял до Покровских Ворот. Кляча потрухивала, а сзади бежал казачок с баулом. У Покровских Ворот майор слез и вышел на бульвар.

Выйдя на бульвар, он преобразился.

В голубом галстуке, под цвет глаз, опираясь на легкую трость, он косил по сторонам и шел медленно, обмахиваясь шелковым платком, как бы ловя полуоткрытым ртом прохладу бульвара. Вскоре он купил у девочки сельский букет. Был июль месяц, и солнце пекло. Казачок шел за ним на большом расстоянии.

Так он прошел до Мясницких Ворот и добрался до Охотного Ряда. Шел он беззаботно, слегка подпрыгивая и беспрестанно озираясь на проходящих женщин. Казачок, отирая пот рукавом, брел за ним. Майор спустился в винный погреб. Несмотря на ранний час, здесь уже были два знатока, спорившие о достоинствах бургонского и лафита. Он долго выбирал вино, стараясь выбрать лучше и дешевле. Выбрав три бутылки, одну Сен-Пере и две лафита, он небрежно уплатил и, указав на вино казачку, сказал нежно и так, чтоб слышали окружающие:

– Да ты адрес, дурачок, помнишь? Ну конечно, не помнишь. Повтори же: рядом с домом графини Головкиной, дом гвардии майора Пуш-ки-на. Там тебе всякий скажет. Нет, ты, дурак, не запомнишь. Я уж запишу, ты у бутюшника<sup>1</sup> спроси.

И с легким смехом записал.

Казачок бесчувственно смотрел на него и сунул записку в дырявый карман.

## 2

Гвардии майор или, вернее, капитан-поручик уже год как был в отставке и служил в кригс-комиссариате<sup>2</sup>, так что и форма его была совсем не гвардейская, но он все еще называл себя: гвардии майор Пушкин. Время стояло «хладное», и «дул борей» или «норд» для хороших фамилий, как говорили для того, чтобы не упоминать имени императора Павла.

Поэтому, называя себя гвардейцем в кригс-комиссариатском сертуке, майор как бы намекал на причины отставки и временность ее. На деле он должен был выйти в отставку, так же как и брат его, Василий Львович, потому что для гвардейской жизни не хватало средств, а кригс-комиссариат давал жалованье.

У него вместе с матерью, братом и сестрами были земли в Нижегородском краю. Село Болдино было настоящая боярская вотчина, три тысячи душ, да беда была в том, что в несчастном разделе, девять лет назад, принял участие и единородный сын отца от первого брака и оттягал бо́льшую часть земли и душ себе и своей матери.

---

<sup>1</sup> *Бутюшник* – искаж. «будочник», низший полицейский чин, дежуривший в полицейской будке.

<sup>2</sup> *Кригс-комиссариат* – военный комиссариат, осуществлявший контроль над снабжением войск.

В душе своей Сергей Львович навсегда сохранил с этого времени опасливость по отношению к родне, а единокровного брата изгладил из памяти.

В вотчине Сергей Львович никогда не бывал и болезненно морщился, когда матушка намекала – не без яду, – что не мешало бы, дескать, заглянуть. Знал, что числится тысяча душ, никак не меньше, что есть там в селе мельница на речке, от казны поставлен питейный дом, а кругом густой лес. А что там в лесу, неясно себе представлял – ягоды, волки. Получая доходы, всегда им радовался, как кладу или находке, и мгновенно чувствовал себя богачом. Когда же деньги задерживались, начинал смутно беспокоиться и тосковать. Гвардейское хозяйство было сквозное, и карманы дырявые.

Между тем как гвардеец и человек молодой и чувствительный, притом, как говорили о нем барышни, *bel esprit*<sup>3</sup>, Сергей Львович имел постоянный успех.

Он так тонко объяснялся по-французски, что невольно присвистывал и гнусавил, говоря по-русски. Зная все новые французские романсы, он питал интерес и к отечественной словесности. Его удовлетворяла литературская вольность и общежительность. Где можно было отдохнуть сердцем? Среди литераторов.

Сергей Львович отдыхал среди них и никогда не пропускал случая посетить Николая Михайловича Карамзина<sup>4</sup>, пророка всего изящного. Нынче он несколько перегорел, охладился, стал более существенен, но был всегда снисходителен и любезен, мудр. Для Сергея Львовича он был как бы путеводной звездой. Он жил по-прежнему в доме Плещеева, по Тверской.

Два с половиною года назад Сергей Львович женился. Жена его была существо необыкновенное. Петербургские гвардейцы звали ее «прекрасная креолка» и «прекрасная африканка», а ее люди, которым она досаждала своими капризами, звали ее за глаза арапкою.

---

<sup>3</sup> Остроумец (*фр.*).

<sup>4</sup> *Карамзин* Николай Михайлович (1766–1826) – историк, писатель, автор «Истории государства Российского».



Она была внучкою арапа, генерал-аншефа, а ранее друга и камердинера Петра Великого<sup>5</sup>, известного Абрама Петровича. Злодей отец<sup>6</sup> бросил ее с матерью в самых ранних letech, и она росла как бы сиротою. В судьбе ее, впрочем, приняли участие ее дядя<sup>7</sup>, генерал-цейхмейстер<sup>8</sup> Аннибал, владевший прекрасным имением Суйдой, да генерал-майор Аннибал, живший в Псковском округе. Братья Пушкины, случалось, гащивали у генерал-цейхмейстера, а брат Василий Львович, занимавшийся стихотворством, даже воспел Суйду и ее хозяина. Да и отец их, арап, тоже был не камердинером, а, скорее всего, другом императора Петра, а если и был, то все же имел чин генерал-аншефа. Аннибал было гордое имя. Кроме того, Надежда Осиповна была очень хороша. Влюбившись без памяти, Сергей Львович приволокнулся по всем правилам хорошего круга и вовсе не рассчитывал жениться. Однако очень скоро просил руки, все еще не думая, что женится, и неожиданно получил согласие красавицы.

Несмотря на запутанные семейные обстоятельства, она принесла майору небольшое сельцо в Псковской губернии; дано было также понять, что после смерти отца она получит изрядное село по соседству.

Отец же ее хотя и не был злодей в собственном смысле, но был человек крайнего легкомыслия: он женился от живой жены на одной псковской прелестнице тогдашних времен, уловившей его и обобрававшей до нитки; притом не только его, но и семью, и даже брата. Мотовство его было удивительное. Он был враг денег и точно все время летел вниз по откосу, не имея времени остановиться. Когда появлялись деньги, он тотчас на них покупал золотые и серебряные сервизы для прелестницы.

Дело о двух женах, из которых каждая считала его и другую жену злодеями, заняло бо́льшую часть его жизни; тяжба со второю тянулась и теперь. Старая прелестница то съезжалась с Осипом Абрамовичем, то уезжала от него и в обоих случаях требовала денег. Теперь он жил, проводя, по слухам, дни в удивительных для старика непотребствах, в своем селе Михайловском. Рядом же с Михайловским было сельцо Кобринно, приданое молодой африканки.

Императрица Екатерина скончалась. Гвардейские шалости приутихли. У молодых родилась дочь Ольга. Из Петербурга приехала гостить матушка, Марья Алексеевна. Сергей Львович, увидя себя женатым, вышел в отставку. Ему было двадцать девять лет. Семейный дом рисовался Сергею Львовичу так: увитый плющом, с белыми колоннами (пускай деревянными). И это было первое его смутное недовольство жизнью – он, оказалось, мало смыслил в выборе и устройстве своего дома и счастья. Дом был наемный, случайный, и житье сразу же пошло временное. Ни усадьба, ни Москва – окраина, и не дом, а флигель, который построили на живую нитку английские купцы под контору. Нынешний государь был крутого нрава, англичан не любил – они дом продали чиновнику и уехали. Сергей Львович ненавидел всякие хлопоты. Он сразу снял дом, благо был дешев.

От холостого житья осталась клетка с попугаем да другая – с канарейкой, но образ жизни круто переменялся. Месяц тому назад у него родился сын, которого он назвал в память своего деда Александром.

Теперь, после крестин, собирался он устроить Kurtag<sup>9</sup>, как говорили гвардейцы, – скромную встречу с милыми сердцу, как сказал бы он сейчас.

<sup>5</sup> ...друга и камердинера Петра Великого... – Абрам Петрович Ганнибал (1696–1731) – «арап Петра Великого», прадед А. С. Пушкина, русский военный инженер, генерал-аншеф (высший генеральский чин в Российской империи XVIII в.).

<sup>6</sup> Злодей отец... – Ганнибал Осип Абрамович (1744–1806) – капитан 2-го ранга морской артиллерии, отец Н. О. Пушкиной, дед А. С. Пушкина.

<sup>7</sup> Дядя Ганнибалы: Иван Абрамович (1731–1801) – генерал-поручик морской артиллерии; Петр Абрамович (1742–1826) – генерал-майор морской артиллерии.

<sup>8</sup> Генерал-цейхмейстер – генерал-лейтенант морской артиллерии.

<sup>9</sup> Прием (нем.).

## 3

Марья Алексеевна с утра была в хлопотах. Готовясь встретить гостей и зятю родню, она беспокоилась, как бы в чем не оплошать. Люди были столичные, новомодные, а у ней нет этой тонкости в обращении. Зал убирали, терли мелом фамильные подсвечники, выметали сор из сеней. И сору было много.

В глубине души она считала основательным местом и вообще основным местом своей жизни город Липецк, невдалеке от которого была усадьба ее отца и в котором она жила барышнею. Город был чистый, главные улицы обсажены дубками и липами. Груш и вишен – горы. Девки в безрукавках, расшитых сорочках. А липы как раз в такую пору цвели; от них шел густой приятный дух. Приезжали летом самые лучшие люди, самые нарядные, сановные, из столиц – купаться в липецких грязях. На чугунные заводы посылали самых лучших и тонких офицеров из столицы с поручениями по артиллерии. И когда она выходила замуж, ей все завидовали, хоть и притворялись, что равнодушны, и даже посмеивались, что идет за арапа. Был по морской артиллерии, любезен до пределов, весь как на пружинах, страстен и на все готов для невесты. А оказался злодей.

Будучи нагло покинутой с малолеткой дочерью на руках, без всякого пропитания, поехала она в деревню к родителям; но родитель был уже стар, арап, вторгшийся в семью, омрачил его жизнь, и он от паралича скончался. Так арап стал двойным злодеем.

После смерти отца Марья Алексеевна жила со своей матерью и маленькой дочерью в лютой бедности. Иной раз в доме не было черствого хлеба. Дворня бегала от них, боясь умереть голодной смертью.

И Марья Алексеевна, которой пришлось потом, ни вдовой, ни мужней женой, жить с дочкой и в деревне Суйде под Петербургом, на хлебах у свекра-арапа, и в Петербурге, и теперь в Москве, считала все эти места непостоянными и неосновательными, не обживала их. Она привыкла пустодомничать. У свекра-арапа жила она в Суйде на антресолях<sup>10</sup>. В Петербурге у нее был собственный домик в Преображенском полку. Потом она этот дом продала и перебралась с Надеждою в Измайловский полк. Ее братья были офицеры, муж – хоть и злодей – морской артиллерист, и она чувствовала себя военной дамою. Житье было походное: зóрю быют – вставать, горнист – к обеду. Мимо окон бряцали сабли, позванивали шпоры. Они с дочерью поздно вставали и садились у окошек смотреть на прохожих.

Надежда подросла. Там, в Измайловском полку, к ней и посватался свойственник, гвардеец, капитан-поручик. Марья Алексеевна была урожденная Пушкина, и Сергей Львович приводился ей троюродным братом. По справкам оказался человек состоятельный. Предложение, разумеется, было принято. Молодые переехали в Москву, она теперь гостила у них – для порядка, и опять попала она на антресоли, как когда-то у свекра-арапа, только теперь с внучкой Ольгой.

Людей Марья Алексеевна перевидала много, привыкла улещать и одергивать чиновников, с которыми приходилось возиться по тяжбе с преступным мужем-двоеженцем, ценить людей, дающих приют и ласку, и опасалась, чтобы не осудили и не сочли бедной. Теперь пошла мода на образованность, на бледный цвет, все изменилось.

А Липецк как был, так, говорят, и стоит.

У ней на руках было теперь все зятёво хозяйство, небольшое, но трудное. Дворня невелика, но распушена и отбилась от рук. Повар Николашка – пьяница и злодей. Все люди ленивые, как мухи, руки как плети. И все врут. Счастье еще, что привезла с собой кой-кого из дворни – испытанную мамку и няню Иришку. Доходы поступали, против ожидания, в эти

<sup>10</sup> *Антресо́ли* – верхний этаж с низким потолком в особняках XVIII–XIX вв.

годы туги. Марья Алексеевна не скрывала своего разочарования: решительно невозможно было понять, богат или беден Сергей Львович. Тысяча душ – легко сказать! А сахару в доме нет, и в лавочку задолжали. Все лежало на ней одной, Сергею Львовичу только бы юркнуть из дому. А Надеждины порядки ей не нравились, и она не доверяла ее умению устроить жизнь. Марья Алексеевна не раз подмечала в дочери не свои черты; она и лицом пошла в отца, в арапа; и ладони у нее темные, желтые. И какой-то нездешний, не липецкий холод: равнодушные и лень, по целым дням ходит в затрапезе, кусает ногти, а потом – вдруг, как муха укусит, все вверх дном. Мебели переставлять, людей учить, картины вешать, тарелки бить.

А Липецк как стоял, так, говорят, и стоит.

– Аришка, на кухню сбегай! Николашка поросенка зажарил ли? Шампань-то в лед, дура!

#### 4

Первыми приехали свои, Пушкины. Прибыли сестрица Лизанька с мужем да сестрица Аннет. Марья Алексеевна их не любила и не могла долго усидеть, когда сестры болтали. Лизанька была пуста, по ее мнению. Выбрала мужа много моложе себя. Марья Алексеевна делала невольное сравнение между Сонцевым и Сергеем Львовичем, и Сонцев оказывался лучше. Он был толстоват, добрее и спокойнее, чем их майор, – не бегаёт со двора. Не франтоват, да мил – ходит завитой, как барашек. Действительно, Матвей Михайлович Сонцев был завит по последней моде – а-ля Каракалла<sup>11</sup>. Аннету же, Анну Львовну, Марья Алексеевна не любила за фальшь. Анне Львовне было уже тридцать лет («далеко за тридцать» – говорила Марья Алексеевна), а она все еще ждала женихов, прихорашивалась и говорила томно, нараспев. К Сергею Львовичу она относилась восторженно, заботилась о его бледности и умоляла беречь себя. Надежде же Осиповне возила сувениры, по мнению Марьи Алексеевны, безделки, и ничего боле. Перышки и пряжечки.

В последнее время Анна Львовна как будто дождалась: недавно Сергей Львович сообщил, что Иван Иванович Дмитриев<sup>12</sup>, человек на виду, петербургский поэт и действительный статский советник, сватался к Анне Львовне. Марья Алексеевна поздравила, но втайне не поверила. Когда бывали сестры, она часто выходила по хозяйству, а на деле для того, чтобы перевести дух.

– Вздоры, – говорила она негромко и возвращалась.

Василий Львович с женою приехали в отличной, лакированной, звонкой, как колокол, коляске. И Марья Алексеевна оживилась. Она любила эту пару. Василий Львович, быстрый в движениях, всегда готовый к разговору и веселости – эфемер<sup>13</sup>, – явился на этот раз во всем великолепии: прическа а-ля Дюрок<sup>14</sup> и, несмотря на суровое время, довольно толстое жабо. Впрочем, это свое жабо он скрывал под плащом. Кстати, плащ скрывал и фигуру: Василий Львович очень знал, что он кособрюх и тонконог. А рядом сидела женщина, которою он тщеслаивался более, чем своим титулом поэта, своею родословною, коляскою, – неотразимое существо, его жена Капитолина Михайловна. Они ехали, вызывая всеобщее внимание.

Чувствуя его, Василий Львович до самого конца Басманной имел загадочный и равнодушный вид. И только когда дома стали хуже и заметных людей меньше, он позволил себе несколько раз оглянуться по сторонам и увидел, что внимание относится всецело к его жене и нисколько не к нему.

<sup>11</sup> *Карака́лла* (186?—217) – римский император.

<sup>12</sup> *Дми́триев* Иван Иванович (1760–1837) – русский поэт.

<sup>13</sup> *Эфе́мер* – скрытный, ненадежный человек.

<sup>14</sup> *Прическа а ла Дюро́к* – модная прическа конца XVIII в. (короткая стрижка с завивкой).

– Mon ange<sup>15</sup>, mon ange, – пролепетал он с огорчением, но тут же и восхищаясь, – покройте плечи: ветрено...

И сам накинул шаль на эти плечи.

Встречаясь с Капитолиной Михайловной, Марья Алексеевна всегда улыбалась, шурила глаза, как делали в Петербурге тридцать лет назад, когда хотели выказать расположение.

О Капитолине Михайловне говорили разное, и в гвардии ее звали «Цырцея»<sup>16</sup>, но, считая всех мужчин злодеями или готовыми на злодейство, Марья Алексеевна не осуждала женской ветрености. «Молодо – зелено, погулять велено», – говорила она и победно поджимала губы.

Гостей Марья Алексеевна и Сергей Львович встречали в зале.

– Надежда сейчас выйдет, – сказала Марья Алексеевна.

Сестрицы обиделись. У одной в руках были сувениры.

Братья стали друг другу рассказывать вполголоса одну и ту же историю: мадам Шню, содержательница известного кофейного дома, славная своим безобразием, на прошлой неделе окривела на правый глаз. Неелов написал на нее экспромт. Экспромт был смешной, не для дам.

Они повысили голоса. В Марфине, у графа Салтыкова, на прошлой неделе Николай Михайлович пел в своем водевиле, в интермедии, в прологе, в пьесе своей собственной, – прекрасно, граф его во всем слушался, накануне велел декорации менять по одному слову. Материя, впрочем, довольно обыкновенная: сельская любовь, *rivalité*<sup>17</sup>, и из армии приезжает добрый муж, сам граф, – все захлопали, когда он вышел, – и соединяет любовников. Но как все выражено! Стихи, напев! В Петербурге уже известно. Танцы в легких нарядах исполнили девки неописуемо. Десять тысяч обошлось. Первый из братьев с нетерпением ждал, когда другой замолчит, и как бы помогал ему скорее кончить, подражая движению губ говорящего.

Сергей Львович заметно мешал Василию Львовичу, лично бывшему в Марфине и поэтому гораздо лучше знавшему все подробности спектакля. Василий Львович хотел сказать о названии, которое Николай Михайлович дал пьесе, но Сергей Львович его перебил. Название было: «Только для Марфина». Василий Львович кивал досадливо Сергею Львовичу, а потом осмотрелся и увидел, что все свои. Он зевнул.

Вошла плавно Надежда Осиповна, поцеловалась с женщинами. В руках она мяла платочек; ладони и пальцы были у нее в «родимых пятнах», желты, как опаленные, – след африканского деда.

Она улыбнулась Василию Львовичу. И от этой улыбки все изменилось.

И Василий Львович, стихотворец, закосил: взглядом знатока он перебегал с белых плеч своей Цырцеи на смуглые – невестки.

Он все хотел сказать комплимент и наконец сказал его. В стихах своих он стремился к логике и поэтому избегал картин природы; главное достоинство свое он полагал в шутливости. Но как только видел прекрасных – таял и вспоминал чьи-то стихи, безыменные мадригалы, отрывки, может быть даже свои собственные. И в стихах и в жизни он был эфемер.

Между тем люди накрывали стол в саду, под липой, довольно тощей.

Ждали двух важных гостей: Николая Михайловича Карамзина и француза Монфора. Монфор, или граф Монфор, как он себя называл, был еще молод и всегда весел, живописец и музыкант; происходил из города Бордо и прибыл в Москву недавно, официально числясь при свите герцога Бордоского, который жил с братом казненного французского короля, Людовиком, в Митаве. Изгнанные из Парижа и Франции, они жили в России, пользуясь гостеприимством императора Павла, или, как говорили военные, – на хлебах.

---

<sup>15</sup> Мой ангел (фр.).

<sup>16</sup> «Цырцея». – Цирцея – волшебница с о. Эя, коварная обольстительница (гр. миф.).

<sup>17</sup> Соперничество (фр.).

Как только вошел француз своей прыгающей походкой, с насмешливым взглядом, обе сестры взбили локоны и улыбнулись. Анна Львовна улыбалась по-новому: полузакрыв глаза и шевеля губами, точно шептала что-то или жевала сладости. Потом она сказала Марье Алексеевне, что ужасно как дичится этих французов, потому что с ними опасно связываться, тотчас попадешь в лабетки<sup>18</sup>. Марье Алексеевне ее улыбка показалась неприличной. Она вышла за дверь, сказала сердито и негромко:

– Хаханьки! – и вернулась.

Николай Михайлович Карамзин был грустен и одет просто.

– Как щегольство сейчас не в милости, – сказал он тихо, – я к вам запросто.

Как только Николай Михайлович прибыл, все парами прошли в сад. Сергей Львович вдруг скрылся; он вернулся к себе в кабинет, отпер шкатулку; не считая, достал последнюю пачку ассигнаций и кликнул камердинера Никиту.

– Никишка, – сказал он торопливо, – вина мало, беги в трактир, какой знаешь, и купи одну-две-три бутылки бордоского, бургонского, что найдется. Живо! Да сертук не замарай!

Он заботливо обдернул кружевные манжетки на Никите. Камердинер Никита был одет в нарядный синий сертук.

– Балладу не забыл? Всю помнишь?

– Помню-с, – ответил камердинер Никита, – своего, чай, сочинения, не чужого.

Камердинер Никита был сочинитель. Недавно Сергей Львович обнаружил, что Никита написал длинную стихотворную повесть. Прическа и новый сертук не шли к нему. Он был среднего роста, рябоват, белокур. Спокойствие его было поразительно. Сегодня Сергей Львович приготовился блеснуть Никитою. Никишкина стихотворная повесть о Соловье-разбойнике и Еруслане Лазаревиче была забавна. Сергей Львович назвал ее балладой и беспокоился, не позабыл ли Никита текст.

## 5

Все было предусмотрено, и можно было наслаждаться уютом и приятною беседою. Под липою, в саду, всем оставалось чувствовать и вести себя со всею свободой, как в сельском уединении.

Сад был мал, и в этом было его достоинство. Огромность противоречила простоте, а правильные сады более не действовали на воображение. Сельский букет стоял на круглом столе. Лет десять назад такой букет не поставили бы на стол.

Время было тревожное и неверное. Каждый стремился теперь к деревенской тишине и тесному кругу, потому что в широком кругу некому было довериться. Огород, всегда свежий редис, козы, стакан густых желтых сливок, благовонная малина, простые гроздья рябины и омытые дождем сельские виды – все вдруг вспомнили это как утраченное детство и как бы впервые открыли существование природы. Даже участь мещанина или цехового вдруг показалась счастливой. Свой лоскут земли, плодовый при доме садик, на окошке розовый бальзамин – как старые поэты не замечали прелести такого существования?! Они пристрастились к войне, пожарам натуры и всеобщему землетрясению. А эти домики походили на чистые клетки певчих птиц. Но ведь таково счастье человека.

Бледный цвет входил в моду, и в женских нарядах получили большую силу нежные переливы, потому что грубые краски напоминали всё, от чего каждый рад был сторониться. Даже роскошь постыла всем. Все увидели на опыте ее бренность. Удовольствие доставляла только печаль. И уголок в саду летом, как уголок перед камином зимою, был для всех приятным местом,

---

<sup>18</sup> В дурочки (от *фр.* la bête).

вполне заменявшим в воображении свет. Были в ходу *jeux de société*<sup>19</sup> – игры, которые разнообразили время. Играли в шарады, буриме, акrostихи, что даже развивало стихотворные таланты. О придворных делах говорили тихо, а о своих только со вздохом.

Сергею Львовичу почудилось, однако, что позабыли что-то приготовить, купить, на Марию Алексеевну нельзя было положиться, на Nadine надежды плохи. И он так занялся этими мыслями, что не заметил, что серебро и вправду было не чищено, а из двух графинов один поставлен надтреснутый.

Но Надежда Осиповна всем улыбалась и ровно показывала в улыбке белые зубы.

Он успокоился.

«„И ряд зубов жемчужный“, – вспомнил чьи-то стихи Василий Львович. – У Капы мельче, а у девки, у Аннушки, всех лучше».

Василий Львович разговаривал с французом. Свобода обращения, готовность ко всему и быстрая речь; при этом – полное снисхождение к женскому полу, – он все это брюхом чувствовал, все это было для него родственное, свое. Лет двадцать назад было много французов и в Москве и в Петербурге, но что это были за французы! Хозяйки модных лавок, камердинеры да *les outchiteli*. Некоторые из них были забавны. Теперь же, благодаря перевороту, прибыли, спасаясь, люди настоящего благородства, а как они были в нужде и стесненных обстоятельствах, то за семь лет к ним попривыкли и не очень чинились. Даже принцев крови можно было в конце концов залучить на обед. Теперь шла война с санкюлотами<sup>20</sup>, и они опять вошли в моду.

А впрочем, камзол у графа был довольно затрепан, граф обносился, и дела его были запутанны. Царь в последнее время стал скупиться и упрямитесь, и у свиты, да и у самого короля не было денег. Граф, собственно, собирался, для развлечения от скуки, давать уроки французского языка, а если придется – живописи или, пожалуй, музыки. Сергей Львович, по некоторым признакам, заключил, что граф будет просить займы, и заранее мысленно перед ним извинился отсутствием денег.

Главным лицом был, разумеется, не граф. Николай Михайлович Карамзин был старше всех собравшихся. Ему было тридцать четыре года – возраст угасания.

Время нравиться прошло,  
А пленяться, не пленяя,  
И пылать, не воспаляя,  
Есть дурное ремесло.

Морщин у него еще не было, но на лице, удлинённом, белом, появился холод. Несмотря на шутовство, несмотря на ласковость к щекотуньям, как называл он молоденьких, видно было, что он многое изведal. Мир разрушался; везде в России – уродства, горшие порою, чем французское злодейство. Полно мечтать о счастье человечества! Сердце его было разбито прекрасной женщиной, другом которой он был. После путешествия в Европу он стал холоднее к друзьям. «Письма русского путешественника» стали законом для образованных речей и сердец. Женщины над ними плакали.

Он издавал теперь альманах, называвшийся женским именем «Аглая», которым зачитывались женщины и который начал приносить доход. Всё – не что иное, как безделки. Но варварская цензура стесняла и в безделках. Император Павел не оправдал ожиданий, возлагавшихся на него всеми друзьями добра. Он был своеволен, гневлив и окружил себя не философами, но гатчинскими капрами, нимало не понимавшими изящного.

<sup>19</sup> Салонные игры (фр.).

<sup>20</sup> Санкюлоты – название бедных людей в Париже во время Великой французской революции (1789–1794).

И грусть Карамзина вносила всюду порядок и умеренность. Знакомства с ним желали, чтобы успокоить сердце.

Пушкиных он называл: «мои нижегородские друзья» – у него были поместья в Нижегородской губернии. Провинциальная или сельская, поместная жизнь сближала людей, живших в столицах.

Сейчас мысли его были рассеяны. Глядя на хозяйку, он сказал, обращаясь к Сонцеву, о том, как милые женщины умеют из простоты делать изящное и, подражая, оставаться собою. Надежда Осиповна была одета по моде – в легкое белое платье, высокая талия и ленты узлом. Подражание в модах французам запрещено: с мужчин еще недавно срывали на улицах круглые шляпы (*à la jacobine*<sup>21</sup><sup>22</sup>) и фраки, но женщины уцелели – и высокая талия перенята у вольных француженок. Эти сомнительные наряды были более в моде, чем тяжелые дамские сертучки, которые император всячески поощрял и которые носили придворные дамы. И Надежда Осиповна вспыхнула от удовольствия.

И он сказал о том, чем жил и на что надеялся все эти дни, – о поездке в Карлсбад и Пирмонт. Он был болен, а больному не воспрепятствуют выехать для лечения. Климат московский становился для него тягостен. Но он не сказал ни о Пирмонте, ни о Карлсбаде.

– Боже, – произнес он, – представляю себе счастливый климат Хили, Перу, острова Святой Елены, Бурбона, Филиппинских, эти вечно цветущие, вечно плодоносные деревья, и готов здесь, в Москве, задохнуться от жары.

И все вздохнули, в восторге от того, что слышали, и как бы участвуя в этой для всех важной и приятной печали. А Марья Алексеевна тотчас сказала лакею Петьке принести прохладительного.

Карамзин улыбнулся старинному простоудию и, казалось, повеселел. Обед сошел как нельзя лучше. Сергей Львович предался еде. Пастет из дичины был в меру горьковат. Разбойник Николашка готовил лучше, чем в Английском клубе<sup>23</sup>. И если бы за него предложили десять или пятнадцать тысяч, Сергей Львович не продал бы; а если бы и продал, жалел бы. Он ел медленно, страстно, со знанием дела.

После обеда, приятно ослабев, перешли в гостиную, чтобы провести время до вечернего чая. В полутемном зале пахло слегка затхолью, но Карамзин с удовольствием оглянулся по сторонам и сказал, что всякий раз дом их напоминает ему Лондон.

Сергей Львович, никак не могший привыкнуть к дому, почувствовал все его достоинства.

Устроились *petis jeux*<sup>24</sup>, играли в буриме: писали стихи на заданные рифмы. Рифмы были: *nouveauté – répéter*<sup>25</sup>, *avis – esprit*<sup>26</sup>.

Карамзин, разумеется, написал гораздо изящнее и ловчее Василия Львовича и гораздо умнее, чем Монфор.

Все невольно захлопали его катрену<sup>27</sup>.

Монфор довольно счастливо рисовал кудрявых, как Сонцев, купидонов с луком и стрелой. Все попросили его показать свое искусство, и он охотно нарисовал в альбом Надежде Осиповне слепого купидона, оттенив выпуклости рук и ног, мелко завив волоса и означив ямки на щеках.

<sup>21</sup> Наподобие якобинских\* (*фр.*).

<sup>22</sup> ...якобинских... – Якобинство – особое политическое течение в эпоху Великой французской революции. Якобинцы в 1793–1794 гг. установили диктатуру во Франции.

<sup>23</sup> Английский клуб – один из центров московской общественной жизни (организован в 1772 г.).

<sup>24</sup> Игры (*фр.*).

<sup>25</sup> «Новшество – повторять» (*фр.*).

<sup>26</sup> «Мнение – разум» (*фр.*).

<sup>27</sup> *Katren* – в литературе законченная по смыслу отдельная строфа из четырех строк.

Василий Львович недаром просил нарисовать купидона. Он слышал о надписях: находясь в гостях у одной прекрасной женщины, Карамзин, с позволения хозяйки, исписал карандашом мраморного амура, стоявшего в комнате, с головы до ног. С легкой улыбкой он согласился вспомнить стихи и написал вокруг Монфорова амура по разным направлениям стихи: на голову —

Где трудится голова,  
Там труда для сердца мало,  
Там любви и не бывало,  
Там любовь — одни слова,

на глазную повязку —

Любовь слепа для света  
И, кроме своего  
Бесценного предмета,  
Не видит ничего —

и, наконец, на палец, которым Амур грозил, —

Награда скромности готова:  
Будь счастлив — но ни слова!

Василий Львович заколыхался от удовольствия. Эта людскость, светскость восхищала его и нравилась ему. Дрожа от восторга и страха при одном взгляде на свою Цырцею, Василий Львович одновременно допускал шалости с крепостными девушками, а также на стороне, у известной сводни Панкратьевны, — он любил простонародный тон в любви, — но при всем этом старался соблюсти самую строгую тайну и был скромн. Он досадовал на брата, что в комнате нет мраморного амура; он помнил еще несколько экспромтов на руку, на крыло, на ногу, на спину амура, а альбомный листок был уже кругом исписан.

Заставили сестрицу Аннет, невесту поэта, пропеть его песню, которая была у всех на устах:

Стонет сизый голубочек...

У Анны Львовны был тонкий голос, а тонкие, высокие голоса были в моде. Марья Алексеевна вышла распорядиться чаем и сказала за дверью:

— Голос писклив.

Заставили петь и Надежду Осиповну, и она спела: «Плавай, Сильфида<sup>28</sup>, в весеннем эфире». Она пела низким голосом. Голос был гортанный, влажный, рокошующий на «Р». Сергей Львович слушал, скосив глаза, слегка ошалев от грусти и воображения. Прямо перед ним были плечи невестки, и он, повторяя одними губами слова, одновременно как бы и целовал эти славные в гвардии плечи. Василью Львовичу пение Надежды Осиповны напомнило хриповатое пение цыганок, смуглых фараонит<sup>29</sup>, а не песни милых женщин, но, впрочем, очень понравилось.

---

<sup>28</sup> *Сильфида* — женщина, обладающая легкой, изящной фигурой.

<sup>29</sup> *Фараонит* — перен. — певец из свиты фараона.

Плавай, Сильфида, в весеннем эфире!  
С розы на розу в весельи летай!

Николай Михайлович был растроган до слёз. Слова романса были связаны с воспоминаниями.

– Коли б не нетерпение, так была б музыкантка, – сказала Марья Алексеевна.

У всех было приятное настроение людей, которые недаром встретились и умеют ценить друг друга.

Густой багровый закат смотрел в окно и предвещал вёдро<sup>30</sup>. Сестрица Аннет сказала:

– Ну в точности Оссиан<sup>31</sup>!

И Карамзин улыбнулся ей снисходительно, как дитяти.

Появилось вино, и, чувствуя туман, влажность и тепло на глазах, что было всегда для него знаком вдохновения, он сказал не английский тост или спич, а то, чем было полно сердце: он предложил выпить за свою отчизну – Симбирскую губернию, где родился и провел годы невинности, и за друзей – поэтов-симбирцев. Это был Дмитриев. Карамзин получил письмо от поэта, поэт собирается в отставку, кинуть влажный Петербург и будет жить в Москве. Уже присмотрен домик у Красных Ворот. Вокруг домика садик – все есть для счастья Филемона, и нет одной Бавкиды<sup>32</sup>.

Все, как по уговору, стали чокаться с Аннет, и Аннет покраснела до самых корней волос.

– Друзья, – сказал Карамзин, – Гораций<sup>33</sup> прославил Тиволи<sup>34</sup>, а я пью за Красные Ворота и за Самарову гору!

Самарову гору неподалеку от Москвы, против Коломенского, на берегу Перервы, он в особенности любил. Здесь он обдумывал «Бедную Лизу» и «Наталью» и твердо решил: если не удастся за границу, здесь основать свое убежище, открытое для всех друзей человечества, всех истинно умных, наподобие приюта Жан Жака<sup>35</sup>.

И после этой легкой грусти захотелось простодушия.

Было самое время показать Никиту, домашнего поэта, и выслушать забавную его балладу. Успех Никиты был полный. Карамзин смеялся от души, потом призадумался и сказал с серьезностью о новых Ломоносовых. Приказом императора родственники Ломоносова были исключены из подушного оклада<sup>36</sup>, и о забытом поэте опять вспомнили, на этот раз с полным уважением, простив ему дикий вкус, который, конечно, был у всех в далекие времена. У младших развязались языки. Все старое было нынче смешно. Заговорили о Державине<sup>37</sup>.

С Державиным у Николая Михайловича был род дипломатической дружбы – старик посылал ему для напечатания свои стихи, а Карамзин скрепя сердце печатал и посмеивался. Василий Львович тотчас привел два державинских стиха из оды на смерть старика Бецкого, который умер четыре года назад:

...погас, пустил приятный  
Вкруг запах ты.

---

<sup>30</sup> Вёдро – ясная, сухая погода.

<sup>31</sup> Оссиан – легендарный герой кельтского народного эпоса.

<sup>32</sup> Филемон. Бавкида – герои древнегреческого мифа.

<sup>33</sup> Гораций Квинт Флакк (65—8 до н. э.) – древнеримский поэт.

<sup>34</sup> Тиволи. – Речь идет о вилле Тиволи в Италии, в Кампании, римского императора Адриана (76—138).

<sup>35</sup> Жан Жак. – Речь идет о Жане Жаке Руссо (1712–1778) – французском философе, писателе, мыслителе.

<sup>36</sup> Подушный оклад – подать, основной прямой налог в России XVIII – XIX вв. Облагались все мужчины податных сословий независимо от возраста.

<sup>37</sup> Державин Гавриил Романович (1743–1816) – русский поэт, государственный деятель, сенатор.

Державин сравнивал старика Бецкого с ароматным огнем лампы, но без упоминания о лампаде стих становился двусмыслен и даже неприличен. Василий Львович лепетал все это лукаво. Все заулыбались, а женщины не успели или не захотели разгадать шутки.

– Так наш Гаврило Романович любит ладанный дым, – тонко заметил Карамзин, улыбаясь тому, как Василий Львович осмелел при женщинах.

Он погрозил ему пальцем и сказал:

– Вы старый бриган, разбойник с галеры!

Василий Львович даже похорошел от удовольствия. «Галера» – было веселое и слишком веселое общество в Петербурге. О нем и похождениях его членов рассказывали чудеса. Василий Львович был один из главных членов его, и эту петербургскую славу очень ценили в Москве. Все подозревали за ним такие шалости, на которые он даже был неспособен. Красавица Капитолина Михайловна главным образом и прельстилась этой славой.

И тут Карамзин упрекнул его в лени – самый сладостный для поэта упрек, – напомнив о своем альманахе. Василий Львович захлебнулся и забрызгал мелко слюною: у него ничего нет достойного... а впрочем, есть, много есть... разных... безделок.

Сергею Львовичу также хотелось блеснуть, но он побоялся. В шкапу лежали у него списки вольных стихотворений, не какие-нибудь приказные грубоности или похабства – их он хранил только потому, что редки, – но именно вольные и легкие стихотворения, где все описывалось под дымок и покровом, а самые пылкие места живописались вздохами: «Ах» и реже: «Ох». В других же стихотворениях осмеивался не только Эрот<sup>38</sup> или женщины, но и важные лица. Сергей Львович досадовал: нельзя, нельзя... Нынче и безгрешное обращают в грешное, то есть, попросту говоря, притянут к Иисусу и... шкуру сдерут.

Когда Никита и Петька зажгли вечерние свечи и все уселись за чайный стол, он успокоился и почувствовал полное довольство.

Карамзин похвалил вишневое варенье:

– Это варенье ем я с истинным удовольствием.

В это время загромыхала какая-то колымага, зазвонил колоколец, и у самых ворот остановились.

Сергей Львович заметно побледнел.

В вечернее время звук подъезжающей колымаги для лиц, хотя бы и невинно пьющих чай, был неприятен. Так ездили фельдъегери<sup>39</sup>. В сенях хрипло и бранчливо заговорили, и бледный Никита, открыв дверь, доложил, глядя испуганно в глаза Сергею Львовичу:

– Его превосходительство генерал-майор Петр Абрамыч Аннибал.

## 6

Он был небольшого роста, с небольшой головкой, желтыми руками, тонок в талии; с выпуклым лбом, с седыми клочковатыми волосами. Одет он был в темно-зеленый допотопной формы военный сертук, а двигался легко, не прикасаясь к полу пятками. Так он прошел два шага и остановился.

Он поклонился и рывком, толчками сказал:

– Дознался от братца... от Ивана Абрамыча... про радость... – Он метнул глазами по гостям. – А как я здесь проездом, долгом почел, – он поклонился Марье Алексеевне, – вас, сударыня сестрица, поздравить и вас, милостивый государь мой, – отнесся он безразлично к Сергею Львовичу, – а внука своего... поглядеть, и крестик ему от деда...

Он отдохнул и спросил:

---

<sup>38</sup> Эрот – божество любви (гр. миф.).

<sup>39</sup> Фельдъегерь – курьер при правительстве в военном звании.

– Он где сейчас? Внук-ат?

Петр Абрамыч доводился родным дядею Надежде Осиповне и, как все Аннибалы, пошел по артиллерии. Когда брат его, Осип Абрамыч, вошел в связь с псковской прелюбодейкой и бросил свою семью на ветер, Петр Абрамыч волей-неволей должен был принять почетный и бесплодный труд опекунства. Относясь с участием к племяннице и судьбе ее, он, однако ж, оказался вполне непригоден к опекунству и понял его как-то странно: ездил укорять преступного брата, писал изредка длинные письма Марье Алексеевне, называл ее сударыней сестрицей, но в отношении денег отмалчивался. Объяснялось это тем, что в этом вопросе он и сам был очень нетверд и даже полжизни провел под следствием за растрату каких-то артиллерийских снарядов. Братец Иван Абрамыч кой-как замял скандальное дело. К этому времени Петр Абрамыч, находясь уже в отставке и будучи опекуном, развелся с женой и бежал с одной лихою девицею из Пскова, где проживал, в свою деревню Ельцы, оттуда послал жене уведомление, чтобы, к успокоению его, она более с ним не жила. Ездя увещевать преступного брата, он нашел с ним много общих взглядов и точек соприкосновения.

Наезды эти кончались общим братским загулом, продолжавшимся с неделю и более. Вскоре старая обольстительница впутала и Петра Абрамовича в денежные счета: по заемным письмам брата он передал красавице много денег и сам чуть не разорился. Находясь в отставке, но еще в полных силах, он вскоре окончательно переехал в близкое соседство к преступному брату. Беспутная роскошь, в которой тот жил, его прельстила. Проживал он со своею лихою девицею в маленьком сельце Петровском, рядом с селом Михайловским, где жил двоюродный брат. Жил он там, по слухам, весело, но никого к себе не пускал, а к нему никто и не ездил. Выезжал же он главным образом для ведения путаной тяжбы о разделе с супругою и сыном Вениамином. Так его занесло в Москву.

Все были озадачены.

Для Сергея Львовича встреча была неприятна, особенно ввиду присутствия Карамзина. Аннибалы, с которыми он породнился, были фамилия по необычайности и известному всем началу не без значения и даже по-своему почтенная. Но так было на словах, в отсутствие старых арапов. В отдалении от них никто не мог вообразить, как желты и черны арапские лица. Поэтому, относясь к Ивану Абрамовичу, как и вся петербургская гвардейская молодежь, с почтительной усмешкой и снисходительным любопытством, он вовсе не стремился повидать блудного тестя и в особенности не желал встреч с жениной роднёю в присутствии лиц, мнением которых дорожил. *La belle créole*<sup>40</sup> была хороша, ее судьба увлекательна, но появление арапа дяди неуместно. Лицо его было совершенно арапское, и внезапный интерес к нему посторонних лиц неприличен. Любопытство, которое старый арап выказал младенцу, в честь коего Сергей Львович и устроил, в сущности, сегодняшний *Kurtag*, смутило всех. Занятые друг другом, событиями, играми, воспоминаниями сердца и стихами, гости до сих пор не имели времени и предлога вспомнить о ребенке. Как на грех, ребенок все время молчал, не подавал голоса. В самом деле, где он был сейчас? Верней всего, спал на антресолях.

Сам арап тоже был в нерешительности. Он не ожидал встретить гостей. Личико его было морщинистое, жеваное, глазки живые, коричневые, кофейные, с темными желтыми белками, как у больных желтухой, а ноздри широки. Француз с любопытством глядел на него. Старик вдруг остановил обезьяньи глазки на Сергее Львовиче и спросил хрипло:

– Может статься, я помешал?

Марья Алексеевна вдруг ответила, недовольно, но вежливо:

– Что ж, садись, Петр Абрамыч.

Арап улыбнулся; он оскалил белые зубы, и сморщенное печеным яблоком личико вдруг стало детским.

<sup>40</sup> Прекрасная креолка (фр.).

– Благодарю, сударыня сестрица, – сказал он нежно.

И женщины увидели, что арап был старый любезник и мил.

Надежда Осиповна подошла к дяде.

– Какая стала, – сказал он комплимент, путая возрасты, и поцеловал ее в лоб. – От отца зов: приглашает отец вас, милостивый государь мой, с женою вашею, – отнесся он к Сергею Львовичу. – Зовет летом у нас ягод поесть.

Приглашение было принято Сергеем Львовичем любезно. Все оказывалось гораздо приятней и приличней, чем он полагал, – старый арап привез приглашение отца.

Предстоял разговор с тестем – быть может, о приданом. И летом приятна природа. Мысль поесть ягод у тестя ему вдруг улыбнулась. Сергей Львович любил ягоды. А Марья Алексеевна останется дома с детьми.

Марья Алексеевна вышла за дверь, сказала:

– Тоже, посол явился, – и вернулась.

Петр Абрамович вина не стал пить и тотчас же попросил водки. Марья Алексеевна достала откуда-то старую полынную настойку.

Отпив, он серьезно всех оглядел, медленно двигая языком и губами.

Марья Алексеевна все смотрела на него каким-то далеким взглядом. Петр Абрамович попробовал вкус водки.

– Я, сударыня сестрица, – сказал он Марье Алексеевне, – настойки в простом виде не пью, я ее перегоняю. Я возвожу в известный градус крепости. Чтоб вишня, горечь, чтоб сад был во рту.

Тут он увидел Капитолину Михайловну и повеселел. За столом сидело много молодых женщин. Он выпил рюмку в их честь.

Красавица Капитолина Михайловна кивнула ему вежливо: внимание старого арапа ей польстило. Она повела плечами.

Он осмотрел исподлбья комнату.

– Флигель теплый ли? – спросил он и, не дождавшись ответа, забыв о флигеле, опять вспомнил о ребенке: – Как нарекли?

Он был скор в переходах.

Сергей Львович нахмурился: дядя-арап назвал дом флигелем. Дом, конечно, и был флигель, но переделан заново, отстроен и имел чисто английский вид.

Узнав, что младенец назван Александром, дядя всплеснул руками.

– Великолепное имя! – воскликнул он. – Два величайших полководца, сударыня сестрица, в мире: великолепный Аннибал и Александр. И еще Александр Васильич – Суворов. Поздравляю, сударыня сестрица! Это великолепное имя вы выбрали.

– Имя дано более по фамильной памяти, – сказал неохотно Сергей Львович, – по прадеду его, по Александру Петровичу, ибо он – прямой основатель семейного благополучия, а не по Суворову, – добавил он тонко и покосился на Карамзина.

Суворов был в чести только у стариков. У него начиналась фликсена, или размягчение мозгов. Это было достоверно. Оттого война с санкюлотами и шла так плохо.

Петр Абрамыч посмотрел на него исподлбья и выпил рюмку полынной.

– Не припомню, сударь, – сказал он, – деда вашего, не знавал.

С мужчинами он разговаривал не так, как с женщинами, – отрывисто и нелюбезно.

– Ан нет, – сказал он вдруг с хрипотой, – и деда помню. Это, помнится, тятенька еще покойный сказывал – Александр Петрович. Жену не у него ли, сударыня сестрица, зарезали?

Сергей Львович откинул голову и прищурился. Василий Львович поправил жабо.

Если бы дядя не был так необыкновенен и не говорил так отрывисто и внезапно, решительно это было бы оскорблением.

Бабка, жена Александра Петровича, была некогда действительно зарезана в родах, но зарезал-то ее не кто иной, как муж ее, сам Александр Петрович, по имени которого и был теперь наречен младенец. Он зарезал ее из ревности, в умоисступлении, и всю остальную жизнь за это был под судом. Вспоминать об этом было не ко времени и невежливо.

Однако, судя по отрывистому характеру старого арапа, это было, вероятно, просто внезапное старинное воспоминание. Кстати, по всему было видно, что генерал-майор еще до наливки сегодня кушал водку.

Карамзин вмешался.

Он давно с любопытством поглядывал на арапа и теперь, тихо и важно, как всегда, спросил, не приходилось ли генерал-майору путешествовать.

И по живым кофейным глазкам, и по сухости, верткости действительно старик напомнил какого-то всесветного африканского путешественника, как теперь их любили выводить в английских романах, а никак не псковского помещика.

Под любопытными взглядами он сидел спокойно – видно, что это было ему в привычку.

– Я, сударь мой, всю жизнь был по артиллерии и в царской службе, – сказал он с достоинством, – и точно ездил, а путешественником николи не был. А теперь, как открылась дальняя война, на чужой кошт<sup>41</sup> то беспрерывно буду проситься в дальные край... Без стариков обойтись не могут.

Карамзин мог бы обидеться: он был автор «Писем русского путешественника», и если б можно было предположить, что генерал-майор читал изящную прозу, это была бы дерзость. Но много видевший Карамзин решил, что старый арап обиделся самым словом «путешествие». Это показалось ему забавною чертою.

Марья Алексеевна искоса поглядела на деверя.

– Что так захотелось в дальные-то края? – спросила она. – Из дому-то. Пустят ли тебя?

Марья Алексеевна метила в псковскую красавицу, которая отбила генерал-майора от семьи. Она ее ненавидела, ни разу не выдав, и даже более, чем свою разлучницу.

– Я, сударыня сестрица, – сказал вдруг тихо и нежно генерал-майор, – тятенькина княжества хочу сыскать. Затем из дому еду.

Он обращался с Марьей Алексеевной почтительно и терпеливо, не поднимая глаз. Так он говорил с нею в молодости.

– Какого это княжества? – опять спросила Марья Алексеевна, и с явным недоверием.

– Арапского, – терпеливо ответил генерал-майор и метнул глазками в Карамзина, – в Эфиопском царстве, в Абиссинии, губернаторство Арапия, там тятенькино княжество по всему быть должно. Тятенькин отец, дед-ат мой, князь был африканский.

Карамзин чуть улыбнулся бледной улыбкой.

– Не слыхивала, – сказала Марья Алексеевна, – про губернатора. Что ж, Петинька, раньше за всю жизнь ты того княжества не нашел, ни братцы?

– Я, сударыня сестрица, занят был, – ответил Петр Абрамович, все так же нежно и отчетливо, – на государственной службе был занят, – повторил он, сам прислушиваясь и убеждая себя, – и не мог тятенькина княжества сыскать. То же и братцы.

Марья Алексеевна покачала головой, но тут опять вмешался Карамзин. Литератор сказался в нем. Судьба арапа была презанимательная.

– Жизнь батюшки вашего необыкновенна, – сказал он учтиво. – Не оставил ли он по себе бумаги, письма и прочее? Все это было бы драгоценно для истории.

Старик нахохлился. Упоминание о бумагах лишало его всякого доверия к Карамзину.

– У меня, сударь, ничего нет, – сказал он опасливо, – да и тятенька не любил этих бумаг. Может, что и есть у братца, у Ивана Абрамовича.

---

<sup>41</sup> Кошт – расходы на проживание и питание.

Растрата снарядов, а теперь тяжба приучили генерал-майора бояться бумаг.

Карамзин решил оставить в покое старика. Он спросил у Сонцева, который слыл вестовщиком:

– Правда ли, Кутайсов<sup>42</sup> уезжает?

«Уезжает» означало – впадает в немилость.

Кутайсов был пленный турка, дареный цирюльник, – а теперь ведал всеми лошадьми государства, граф и кавалер. Притча во языцех.

– Напротив того, – отвечал с удовольствием Сонцев, – кавалер Александра Невского.

У него были приятели в герольдии<sup>43</sup>, приказ заготовлялся.

Генерал-майор вдруг уставился на Карамзина. Ноздри его раздулись.

– Кутайсов, – сказал он сипло, – камердинер и по комнатной близости орден имеет. Он сапоги ваксит. А батюшка мой по заслугам отличен. Потому я именем Петровым и назван.

Собственно, ход мысли Карамзина и был таков: ему было известно, что славный арап был камердинер или денщик императора Петра. Поэтому он и вспомнил о Кутайсове.

Он смутился.

– Батюшка мой, – сказал брыкливо старик, – сам князь был, только что африканский. А вызван для примера. Фортификации<sup>44</sup> учить. А что он черен, то больше был лицом нагладен и лучше запомнилось, какой великий муж из него образовался. Вот она, сударь, сова.

Согнув палец, он показал перстень с черной печатью.

Он пил теперь непрерывно – стакан за стаканом, и бутыл с настойкою пустела.

– Тому документ есть верный, немецкий. Только я, сударь, его вам не дам.

Он начинал хмелеть.

– Жадный, – сказала Марья Алексеевна.

И опять старик покорился.

– Верьте, сударыня сестрица, я всегда и вечно ваш, а что тятенька с лица был нехорош, так сердцем-то, сердцем – прямой Аннибал. Даю слово Аннибала.

Марья Алексеевна вдруг вздохнула:

– Сердцем-то зол был и с лица нехорош, а вот *courtoisie*<sup>45</sup> у него было поболее, чем у вас, Петинька. Он *улыбаться* умел, – сказала она значительно.

Петр Абрамович загляделся на невестку.

– Эх, сердце золотое! – Он вдруг раскрыл в улыбке белые зубы.

– Лучше, лучше был, и зубы белее, – махала ручкой Марья Алексеевна.

Сергей Львович был обеспокоен, и сердце у него замирало: Карамзин не обиделся ли?

Сергей Львович в смущении сказал Никите повторить его балладу. Тот было начал, да сбился.

Действительно, у Карамзина сделалось несколько скучное лицо. Он мало понял из раздраженной речи старика. Между тем Петр Абрамыч положил на нее много труда. Он вспотел и отирал лоб платком.

Он и правда видел у братца Ивана Абрамыча документ, о котором говорил. Родитель, над которым в Ревеле смеялись немцы-майоры за черноту лица, позднее поручил одному доверенному немцу составить свою рефутацию<sup>46</sup>. Сыновья по приказу старика, скопом, с превеликим трудом, с помощью знакомого немца-аптекаря прочли ее и вытвердили.

---

<sup>42</sup> Кутайсов Иван Павлович (ок. 1759–1834) – пленный турок, царедворец, камердинер Павла I.

<sup>43</sup> Герольдия – департамент в составе Сената, заведовавший родословными делами до 1917 г.

<sup>44</sup> Фортифика́ция – военная наука об искусственных преградах.

<sup>45</sup> Учтивости (фр.).

<sup>46</sup> Рефута́ция – опровержение, доказательный спор.

Составлена она была с целью добыть дворянство. Петровское время было хлопотливое, и о дворянстве старый арап вспомнил только ко времени Елизаветы, когда все наперерыв стали доказывать благородство своего происхождения. Тогда же с дворянством был ему пожалован герб, которым теперь возгордился Петр Абрамыч: скрещенные над подзорной морской трубою знамена, а надо всем сова – ученость и ум. Герб был вырезан у Петра Абрамовича на перстневой печатке.

«Император Петр, – говорилось в рефутации, – желая показать всей знати пример, старался достать арапчонка с хорошими способностями. Арапчат – Neger<sup>47</sup>, Mohren<sup>48</sup> – употребляли все Дворы как рабов, – писал немец, – а Петр захотел доказать, что науками и прилежанием их воспитать можно. По темной же коже такой пример, полагал император, лучше запомнится всей знати – Ritterschaft und Adel<sup>49</sup>, – которая ленилась и Петру противилась». О «губернаторстве Арапии» там не говорилось, но рассказывалось, со слов самого старого арапа, о том, что Ибрагим, или же Авраам, был из Абиссинии, княжеского рода, владевшего тремя городами. Петр Абрамыч был уверен, что кратко обо всем этом рассказал.

Он совершенно разочаровал Карамзина.

Знаменитый арап был креатурой<sup>50</sup> императора – чисто анекдотическая и драгоценная черта слишком поспешного царствования.

К великанам, карлам, арапам император, по преданиям, питал особое любопытство. Дикие понятия его о природе человека казались забавны Карамзину, ученику Лафатера<sup>51</sup>.

Теперь генерал-майор был вполне пьян.

– Как звать? – спросил он отрывисто Никиту.

– Никитой, сударь.

– Ты, Никишка, плох, – сказал генерал-майор, – вот у меня Гришка мой с гусяром поет – в масть и цвет! В дрожь приводит! Слёзы! Сердце золотое! А ты – слова в нос произносишь. Ты плох.

Карамзин стал прощаться. Вечер был испорчен.

Самарова гора, приют друзей сердца, московский английский home<sup>52</sup>, сельское одиночество – всё разом пропало.

Явление арапа, его грубость и нежность, его внезапные манеры – не то африканский мореплаватель, не то пьяный помещик – разрушили все милые обманы.

Сергей Львович говорил о Болдине, которого не знал, француз был придворным несуществующего Двора, будущность была темна для Карамзина.

Вместе с Карамзиным ушел и француз, убедив сестрицу Аннет носить высокую прическу и не успев попросить взаймы.

Сергей Львович проводил гостей и вернулся омраченный. И потраченные деньги пошли прахом, и Карамзин ушел в неудовольствии. Слово пустее и темнее в комнатах стало без Карамзина.

Всю жизнь старался быть как все и чтоб все было как у всех, и никогда ничего не выходило. Этот бурлескный<sup>53</sup> тон старого дяди, которого не вынес Карамзин, возмущал и его, но он затруднялся выразить свое негодование.

Старый арап поднялся и вдруг двинулся к лестнице – к антресолям.

– Мне внука поглядеть, – бормотал он, – и ничего боле. Внук-ат, он где?

<sup>47</sup> Негров (нем.).

<sup>48</sup> Мавров (нем.).

<sup>49</sup> Рыцарству и дворянству (нем.).

<sup>50</sup> Креатура – ставленник влиятельного лица.

<sup>51</sup> Лафатёр Иоганн Каспар (1741–1801) – швейцарский писатель, богослов и поэт.

<sup>52</sup> Домашний очаг.

<sup>53</sup> Шутовской, смехотворный (от фр. burlesque).

Марья Алексеевна загородила ему дорогу.

– Не пущу, – сказала она со страхом и злостью. – Спит ребенок, не прибрано.

Арап отступил.

Глазки его тускло посмотрели на невестку.

– Деда? – прохрипел он. – Дядю? Крестик привез! От деда.

Он вытащил из кармана маленький золотой крестик, сжал его и потряс кулачком.

Надежда Осиповна все время смотрела на дядю со странным спокойствием, не отрываясь. Она всего два раза, ребенком, видела отца – и в первый раз он запомнился лучше и яснее, чем во второй. Она помнила цветочки на жилете со стразовыми пуговицами, пестрый бант, влажный поцелуй и удивительно легкую походку – он отскочил от нее, как мяч. И всю жизнь, все свои двадцать три года, она помнила и знала, что это-то и было ее и матери несчастьем. И теперь она, широко раскрыв глаза, смотрела на дядю.

Вытянув вперед шею, со страшной решительностью, качаясь на легких коротких ножках, дядя шел на антресоли. Волосы торчком стояли на его седоватой голове.

Надежда Осиповна встала и пошла за дядей.

Тогда Марья Алексеевна отступилась.

Она села у камина и отвела глаза.

– Внука... – сказала она, – тоже, дед нашелся...

И она стала молчаливо глотать слезы, слезу за слезой, – как тогда, в молодости, когда ирод ее тиранил.

## 7

Гости не знали, оставаться или уходить.

Василий Львович моргал и посапывал, как всегда бывало с ним в затруднительных обстоятельствах. Сестрицы шурились и украдкой пожимали друг другу руки, следя за переменами в лице Марьи Алексеевны.

Сонцев был искренне огорчен. Он хорошо поел, и какая-то непонятная происшедшая перемена мешала его пищеварению. Он дожевывал, огорченный, кулебяку.

Одна Капитолина Михайловна, как красавица, не давала себе труда тревожиться или сердиться на арапа. Тем более что старый арап, как казалось ей, не был нечувствителен к ее прелестям.

Но и на самом деле ни спора, ни ссоры, в сущности, не было, да и ссориться пока, по-видимому, не из чего было. Всегда вокруг Аннибалов образовывался этот непонятный для Марьи Алексеевны шум, свара, раздражительность, как в бане вокруг человека стоит клубом горячий туман.

Сергей Львович мелкими сердитыми шагами взобрался по лестнице наверх, за всеми.

– Не тревожьтесь, голубушка Марья Алексеевна, – сказала Елизавета Львовна, – стоит ли тревожить себя, душенька!

Марья Алексеевна утерла глаза и нос платочком и, даже не посмотрев на сестриц, пошла на антресоли.

Аннет сжала украдкой руку сестре. Обе стали жадно прислушиваться.

## 8

Моргала и кланялась сальная свеча, с которой никто не снимал нагара. Окна были не завешены, и в них гляделась луна, стены голы. Белье лежало кучей в углу; на веревочке у печки сушились пеленки; распаренное корыто стояло посреди комнаты, и арап споткнулся. Беспорядок был удивительный. Трясущийся пламень придавал детской походный, кочевой,

цыганский вид. Эта комната не была рассчитана на внимание посторонних. Пушкины были пустодомы.

Маленькая девочка присела перед арапом.

– Это кто? – спросил он, изумленный.

– Ольга Сергеевна, батюшка, – сказала нянька, кланяясь. – Здравствуйте, батюшка Петр Абрамович.

Глаза у ней были молодые, она была разбитная, ловкая.

– Здравствуй, – сказал арап. – Как звать?

В детской он присмирел, винные пары рассеивались.

– Аришкой, батюшка, из кобринских я, из Аннибаловых.

Арина<sup>54</sup> говорила нараспев. Она была из Ганнибаловой вотчины и девкой отошла к Марье Алексеевне. Она низко кланялась Петру Абрамовичу. У Аннибалов дворня ходила по струнке.

– Дух здесь, Аришка, нехороший. Ты смотри за барчуком.

Сергей Львович подоспел. Арап наклонился над ребенком.

– Тише, *mon oncle*<sup>55</sup>, – сказала глухо Надежда Осиповна, – спит.

– Не спит, – возразил арап.

Ребенок в самом деле не спал. Он спокойно смотрел бессмысленными небольшими глазами цвета морской воды, еще не устоявшегося, утробного.

Арап всматривался в него.

– Белобрыс, – сказал он.

Он посмотрел еще.

– Кулер<sup>56</sup> белесоватый.

Ребенок задвигался, смотря мимо всех.

– Расцелуйте его в прах! – закричал арап. – Честное аннибальское слово – львенок, арапчонок! Милый! Аннибал великолепный! В деда пошел! Взгляд! Принимаю! Вина!

Сергей Львович выступил. Пьяный арап распоряжался у него в доме, как у себя в вотчине. Несмотря на все свои чувства к жене, он всегда полагал, что несколько возвысил Аннибалов, породнясь с ними и подняв их до своего уровня. С детства он запомнил проезд какого-то вельможи по Петербургу, туман, фонарь, крик «пади!» и калмыка с арапом в красных ливреях на запятках. Москву теперь клонило к старой знати. Турок Кутайсов был у всех в презрении.

Старый арап спугнул всех гостей и объявил Аннибалом и чуть ли не арапчиком его сына.

– Милостивый государь, – сказал Сергей Львович, вздыхая, с необыкновенным достоинством, – не устали ли вы с дороги и не время ли отдохнуть? И притом отца... отцу... Смею думать, сын мой не... львенок... и не арапчонок, а Пушкин, как я. Я ваше племя люблю и уважаю, – когда оно хорошее, – добавил он строго, – но согласитесь, что сын мой... что отец, как я...

Вдруг неожиданно легко арап поднял ребенка, побежал с ним к свече и поцеловал звонко и влажно на всю комнату.

Одной рукой держа ребенка, он другой сунул крестик в свивальник.

Марья Алексеевна сердито отнимала ребенка.

– Уронишь, – сказала она, отстраняя старика рукой. – Прочь от ребенка, ироды!

Она стала качать мальчика, который наконец заплакал.

Арап обернулся к Сергею Львовичу. Он сделал одно короткое движение – схватился рукой за пояс, за саблю. Сабли не было: старик был давно в отставке.

---

<sup>54</sup> *Арина* – Яковлева Арина Родионовна (1758–1828), крепостная семьи Ганнибалов, няня А. С. Пушкина.

<sup>55</sup> Дядя (*фр.*).

<sup>56</sup> *Кулер* (искаж. колёр) – краска, цвет.

– Как я... как ты! – захрипел он, и было удивительно, сколько низких влажных хрипов есть в человеческой глотке. – Ты кто таков? Ты, сударь, – фьють!.. – свистнул он. – Свистун ты! А я – Аннибал. Вот мое племя!

Глаза его были влажные и дымные, он был пьян.

Сергей Львович побледнел.

– Не кричите, mon oncle, – сказала Надежда Осиповна глухо, и лицо ее пошло пятнами, – спит ребенок. Я кричать не позволю.

– На девку свою кричи, – тянула Марья Алексеевна далеким певучим голосом.

Арап попятился. Губы у него прыгали и не находили слова.

– Пушкиных... забываю! – закричал он, сжав кулачки. – Прах отрясаю! – Он пнул ногою стул и сорвался вниз по лестнице.

Слышно было, как он прогремел через залу и выбежал в сени.

Марья Алексеевна уложила ребенка в зыбку и вдруг сжалась в комочек, стала комочком, сухоньким, старым, востроносим; шмыгнула носом и прошла, трясая головой, куда-то.

Сергей Львович, все еще бледный, выпатив грудь, ходил по комнате. Он был ослеплен, оглушен срамом. Потом тихонько открыл двери и глянул вниз. Гостей не было.

Марья Алексеевна присела у окошка.

– Тоже, посол явился, – сказала она негромко, – дед.

Она трудно дышала. Голова ее качалась.

Генерал-майор шествовал через двор стремительно, неверными шагами. Колымага ждала его.

– Дед, вишь, – прошептала Марья Алексеевна, – сам еле ноги волочит. Горе мое!

А Сергей Львович долго еще хорохорился. Он все ходил, подпрыгивая, по детской и отшвыривал ногою разметанное по полу белье. Он старался понять, как начался, откуда взялся и куда зашел этот нелепый спор.

– Я готов всем жертвовать спокойствию, – говорил он, положив руку на сердце, – готов все стерпеть, и не в моем характере, друг мой... Но уж если меня затронут, и притом – где? – в моем же доме! Я не желаю, душа моя, более встречаться с этим... vieux raifort<sup>57</sup>.

Тут он взглянул на Надежду Осиповну и обомлел.

Она сидела на Аришкиной кровати, ногою качала колыбель, не смотря на него и не слушая. Глаза ее были раскрыты, и она, не мигая, плакала: из глаз текли большие мутные слезы. Она их не замечала. Потом она посмотрела на ребенка как на чужого. Вдруг она увидела Сергея Львовича, его походку, его прыгающие плечи, все его благородное негодование и вслушалась.

– Подите вон, – сказала она глухо.

И Сергей Львович, изумившись и втянув плечи, пошел из комнаты.

Она впервые его прогнала. Он даже толком не понял за что.

– Выгнали дядю-то, – говорила шепотом в людской Арина, – надо быть, больше не придет. Всё кричал: «Мы, Аннибаловы!» Меня признал. Двадцать лет не видал, а признал; у них взгляд вострый – беда!

– Пьяный приехал, – объяснял Никита, – характер у них непереносимый. И разговор грубый. Как на большой дороге. Генерал!

---

<sup>57</sup> Старым хреном (*фр.*).

## Глава вторая

### 1

Семейный корабль снялся с московского Елохова быстро и неожиданно: во флигельке стала протекать крыша, а съезжать было некуда. Марья Алексеевна собралась к себе в Петербург – продавать свой домик в Измайловском полку («дворня всё в пустоту приведет – знаю их»). А Сергею Львовичу захотелось осмотреться. У него была в крови эта легкость передвижения: он любил освобождаться разом от всех тягот, сев в рессорную коляску или даже в наследственный рыдван<sup>58</sup>. Он все позабывал тогда. При виде облаков и полей во взгляде у него появлялась неопределенная решительность – он любил дорогу.

Под скрип колес, при случайных встречах у него рождалось много счастливых и быстрых мыслей, а когда наступало полное их отсутствие, он сладко дремал.

Недолго думая, Пушкины переехали всей семьей в Петербург, а Сергей Львович, вспомнив приглашение тестя, поехал к нему в село Михайловское, предоставив жене и теще устроиться на новом месте.

Свидание с тестем его смутило. Он ожидал родственных объятий, слёз, раскаяния, воспоминаний и рисовал мысленно сцену прощения. Он прощал тестя от имени жены, да уж и Марьи Алексеевны, и своего.

Ничуть не бывало.

Глубокое равнодушие окружало старого арапа. Равнодушно пожал он руку зятю, машинально спросил о здоровье – и только через минуту улыбнулся долгой бледной улыбкой. Потом они сидели на скамье, почернелой от дождей, желтые листья лежали по всем дорогам, и арап молчал. Лиловые щеки оползли на воротники, и глаза были застланы красной дымкой: он с утра кушал водку.

Тесть молчал и, двигая губами, смотрел на дорогу, листья, деревья. Он походил более на почернелое от пожара, оставленное людьми строение, чем на человека. Где его хваленая легкость – «как на пружинах», о которой помнили все, и Марья Алексеевна, и Аришка. Он забыл о собеседнике и, всему чужой, двигал вогнутыми губами. И только когда на повороте показались крестьянские девки в пестрых сарафанах, с кошёлками в руках, и проплыли в ближний лесок за грибами, арап перестал жевать. Он проводил их глазами и обратился к зятю; взгляд его прояснился.

– Как хороши! – сказал он зятю и улыбнулся, как все Аннибалы – зубами.

Потом опять напала на него дремота; он дремал с открытыми неподвижными глазами, сдвигающимся ртом и мерно поднимающимся животом. Жилет его, дорогого шелка, со страховыми пуговками, был засален.

В последний день арап повел зятя погулять. Опираясь на тяжелую палку, он показал ему лес и границу своих владений. Три молодые сосенки росли на пригорке, как ворота в усадьбу. Следы разрушения и заброшенности были везде. Скамья погнила, беседка покривилась, пашни поросли сурепицей. Потом тесть с зятем спустились. Справа и слева синели озера. Они постояли у озера. По озеру шла мелкая рябь, как морщины у старухи; затем их смывало, и вода молодела. Сергей Львович чувствовал одновременно и огорчение от всеобщего упадка, и странное довольство тишиною тестевых владений.

– Как море, – сказал он тестю, глядя на озеро.

---

<sup>58</sup> *Рыдван* – старинная большая карета для дальних поездок.

Сергей Львович никогда не видел моря. Арап посмотрел на него, не понимая. Он долго стоял, опираясь на палку, и зять более его не тревожил. Потом он взглянул на зятя и, как будто угадав его мысли, широко повел палкой по озеру, соснам, лесу.

– Всё вам оставляю.

Тестевы владения остались для Сергея Львовича загадкой. Господский дом, который, по рассказам Марьи Алексеевны, был велик и хорош, – крыт был соломою. Длинный, шитый тесом, он походил на сарай. Банька рядом, справа службы, перед домом цветник – и эта соломенная крыша! Но жест старого арапа был широкий, озеро полноводно – и Сергей Львович уехал с недоумением, увозя на щеке влажный и равнодушный поцелуй тестя. Жирные бледные лны шли по обеим сторонам, он ехал и думал, что это пшеница.

– Хороший нынче урожай, – сказал он с удовольствием вознице, кривому аннибаловскому Фомке.

В пути он несколько оправился, на ближней станции разговорился с двумя здешними помещиками и, приехав, долго хвалил прием тестя, значительно сказав жене и теще, что тесть одряхлел и видимо угасает, усадьба же запущенна.

Теперь настала зима, а они всё жили в Петербурге, не решаясь ни осесть, ни перебраться. У всех было в столице сомнительное расположение духа, никто не решался предпринять ничего основательного, и все считали время не более как на месяц вперед. Состояние императора было таково, что все менялось каждый день. Сергей Львович решил быть тише воды, осмотреться, но в Петербурге не оседать. Чем дале, тем лучше.

Так они жили в Измайловском полку, стараясь не слишком часто показываться на гуляньях и главных улицах, которые теперь были полны императором.

Марья Алексеевна жила в самом средоточии военных, и знакомые офицеры, заходившие по старой памяти, рассказывали чудеса.

## 2

Нянька Арина, укутав барчука и напялив на него меховой картуз с ушами, плыла по Первой роте, по Второй, переулку и пела ребенку, как поют только няньки и дикари, – о всех предметах, попадавшихся навстречу.

– Вот солдат как шагает постановно. Вы на него взгляните, батюшка Александр Сергеевич, какой солдат!.. Шапочка медная... на солнце блестит... а под бляхой крест горит. Вот так шапочка! Вот вырастете и сами такую наденете.

Везде были солдаты. Латунная шапка с мальтийским крестом<sup>59</sup> была на преображенском солдате, шедшем по улице.

– А вот, батюшка Александр Сергеевич, и пушечки. Вот какие! Вот они грохочут, вот гудут. Что твой колокол. Вы шапону-то на уши да покрепче нахлобучьте: мороз, нельзя, заморозитесь. Пушечки... Да...

Арина плыла мимо артиллерийской казармы. Ворота были открыты, солдаты выкатывали пушки, а двое на корточках их чистили.

– Тетка, – крикнул один, когда нянька поравнялась, – по грибы, что ль, с барчуком вышла? Пушку не хочешь почистить?

– Без вас, без охальников, обойдуся, – сказала ровно Арина.

Она проплыла на главную, Измайловскую улицу. Ребенка она вела за руку. Он пристально, неподвижно на все глядел.

---

<sup>59</sup> *Мальтийский крест* – восьмиконечный крест Мальтийского рыцарского католического ордена. В XII в. в Палестине крестоносцы основали орден иоаннитов; в XVI в. орден получил название Мальтийский (по названию резиденции – острову Мálта).

– Ай-ай, какие лошадушки – на седельцах кисточки, и кафтаны красные, шаровары бирюзовые, – пела Арина, – и шапочки бахарские, а ребятушки бородатые!

Это были казаки уральской сотни, которую император содержал в Петербурге. Они медленно ехали по широкой Измайловской улице. Улица была пустынна.

– Ай-ай, какой дяденька генерал едут! Да, батюшка. Сами маленькие, а мундирчики голубенькие, а порточки у их белые, и звоночком позванивает, и уздечку подергивает.

Действительно, маленький генерал дергал поводья, и конь под ним храпел и оседал.

– Сердится дяденька, вишь как сердится.

И она остановилась как вкопанная. Гневно дергая поводья, генерал повернул на нее коня и чуть не наехал. Он смотрел в упор на няньку серыми бешеными глазами и тяжело дышал на морозе. Руки, сжимавшие поводья, и широкое лицо были красные от холода.

– Шапку!.. – сказал он хрипло и взмахнул маленькой рукой.

Тут еще генералы, одетые не в пример богаче, наехали.

– Пади!

– На колени!

– Картуз! Дура!



Тут только Арина повалилась на колени и сдернула картуз с барчука.  
Маленький генерал посмотрел на курчавую льняную голову ребенка. Он засмеялся отрывисто и внезапно. Все проехали.

Ребенок смотрел им вслед, кивая и подражая конскому скоку.

Сергей Львович, узнав о происшедшем, помертвел.

– Ду-ура!.. – вскричал он, прижимая обе руки к груди. – Ведь это император! Дура!

– Охти, тошно мне! – воскликнула Арина. – Он и есть...

Сергей Львович задыхался от события. Сперва он думал, что начнут разыскивать, и хотел немедленно скакать в Москву. К вечеру успокоился. Пошел к приятелю, барону Боде, и осторожно описал событие. Барон пришел в восторг, и Сергей Львович осмелел.

Он, под строгим секретом, должен был рассказать все подробности происшествия, как император, грозно крикнув: «Снять картуз! Я вас!» – вздернул на дыбы своего коня над самой головой Александра, и проскакал в направлении к артиллерийским казармам.

– Первая встреча моего сына с сувереном<sup>60</sup>, – сказал он с поклоном и развел руками.

Через неделю он окончательно решил, что в Петербурге оставаться небезопасно и нужно перебираться на житье в Москву. В России для него было всего два города, в которых можно было жить, – Петербург и Москва.

### 3

Через месяц, после того как Сергей Львович спасся с семьей в Москву и, ходя в должность, желал одного – быть незаметным, произошла смерть императора Павла.

Весть о смерти дошла до Москвы как-то необыкновенно быстро – чуть ли не в те же сутки, скорее самой скорой почтой. Потом стали приходить подробности, и все оживилось. Император был убит, дворянские вольности возобновились. Французские круглые шляпы и панталоны разрешены. Всею душою Сергей Львович боялся Двора и поэтому воображал себя в оппозиции. Он очень радовался со всеми забавному падению Кутайсова: как тот в одном белье бежал по улицам. Каково! Обер-шталмейстер<sup>61</sup>! Москва стремилась в несколько дней навестить великий павловский пост. В этот год на улицах и в домах болтали больше, чем в три предыдущие вместе. Балы шли беспрерывно.

Когда Надежда Осиповна выезжала, все в доме шло вверх дном. Она была ленива и никогда не одевалась ко времени. Но перед самым выездом начинали шнырять и носиться по дому девки, расплескивая из тазов горячую воду, обдавая паром и шурша отглаженными шелками. Надежда Осиповна покрикивала в своей комнате. Раздавался плеск вылитой воды и треск оплеух. Девки носились с красными, опухшими щеками, и у них не было времени плакать. Надежда Осиповна, полуголая, мчалась в соседнюю комнату и вихрем пролетала назад. Сергей Львович жмурился не без удовольствия. Марья Алексеевна пожимала плечами и уходила к себе недовольная.

– На охоту ездить – собак кормить.

Потом Надежда Осиповна выходила из комнаты плавно и медленно, с достоинством, и Сергей Львович, щурясь, оглядывал ее, будто впервые видел. Они уезжали, оставляя за собою содом.

На балах теперь держали себя вольно, даже старики приободрились и молодились.

Иногда ночью дети просыпались и слышали: родители ссорились. Спали далеко за полдень.

Все себя в эти два месяца чувствовали героями дня, людьми на виду, всё перепуталось: и старая знать, и люди помельче. У всех были надежды. Новая французская живописица Виже-Лебрень писала теперь каждый день портреты модных красавиц и написала в два присеста

---

<sup>60</sup> *Суверен* – лицо, которому принадлежит верховная власть в государстве.

<sup>61</sup> *Обер-шталмейстер* – управляющий придворной конюшенной частью.

крохотный портрет Надежды Осиповны, очень милый, с локонами. Сергей Львович был недоволен, что нос горбат, но боялся сказать и хвалил.

Считая, что дворянские вольности избавляют его от дел, Сергей Львович прекратил хождение в должность. День был заполнен и без того. Он даже не успевал справиться со всеми делами. Быстро потрепав детей по щекам, он отправлялся в Охотный Ряд. Известные знатоки толпились у ларей, и брюхастые продавцы в синих кафтанах отвешивали поклоны. Все говорили вполголоса. Животрепещущая рыба лежала кучами. Заглядывали в жаберы, в глаз – томный ли, смотрели: перо бледное или красное, принимались, обменивались мнениями и новостями. Тут же в ожидании стояли лакеи. Сергей Львович не всегда покупал рыбу, иной раз даже и не собирался. Это было нечто вроде Английского клуба, приятельские встречи. Приятнее таких встреч да еще, пожалуй, тайных шалостей не было в мире. Что перед ними блестящие и непрочные карьеры! Сергей Львович вовсе их и не желал.

Так проходило служебное время. Так шло месяца два и три. Потом Москва несколько утомилась, все огляделись и заняли свои места. Сергей Львович вдруг стал порой огорчаться: надо же уделать такую дичь – переехать со всею семьею (и не без трудностей – сломалась в пути колымага) за месяц до совершения всего и начала нового века, Александрова. В Петербурге шла теперь раздача чинов и мест истинно умным людям; впрочем, и здесь, в Москве, Николай Михайлович Карамзин в несколько дней приобрел необыкновенный вес и получил два перстня с брильянтами. Сергея же Львовича новое царствование почему-то не коснулось: он в комиссариатском штате, да и туда не ходит, а жена опять на сносях.

Надежда Осиповна действительно была на сносях, и вскоре родился сын. Нарекли его Николаем.

Сергей Львович с изумлением увидел себя отцом разраставшегося семейства. У него не было ясных мыслей по этому поводу, и будущее вдруг стало казаться неверным; события шли одно за другим, застав его непредуготовленным. Вообще все в жизни шло быстро и не давало опомниться. Все, например, позабыли о том, что сестрица Аннет – невеста. Иван Иванович Дмитриев, поэт, купил себе и домик, и садик в Москве, но не женился. Марья Алексеевна говорила, когда ее не слышали:

– Никогда и не думал. Приснилось ей.

Сестрица Аннет пожелтела и стала носить темные тона. Волосы взбивала по-прежнему, но стала прилежно ходить в церковь. Она считала себя и братьев жертвами; и Надежда Осиповна, и Капитолина Михайловна были не из тех, которые могут устроить счастье. То же тихомолку думал про себя и Сергей Львович. Жена была прекрасная креолка, и все на нее заглядывались. Сергей Львович бледнел от ярости на балах, когда она танцевала с каким-нибудь высоким гвардейцем. Он вполне чувствовал тогда, что его рост мал. А между тем, как она забрюхатела, над ним был учрежден домашний надзор, который становился все тягостнее. Надежда Осиповна стремилась не выпускать из виду Сергея Львовича. Он даже не смел ущипнуть за щеку дворовую девку – вполне невинная шалость.

В этом неясном состоянии он стремился во что бы то ни стало вон из дому, в гости, от Бутурлиных к Сушковым, от Сушковых к Дашковым, а может, к кому и проще, и гораздо проще. По вторникам он ездил в Дворянский клуб. Он искал рассеяния, как будто гнался за потерянным временем или искал забытую вещь. Больше всего он теперь боялся, как бы новые события не отдалили от него друзей и знакомых и как бы знакомцы не возгордились. Небрежный поклон Дашкова привел его однажды в трепет. Глядя, как он ускользает со двора, Марья Алексеевна тихонько говорила старую песенку:

Мне моркотно<sup>62</sup>, молодёньке,

<sup>62</sup> *Моркотно* – скучно, грустно.

Нигде места не найду.

К обеду или к вечеру, если обедал не дома – домашние обеды были довольно скаредные, – он чувствовал зато приятную усталость, вспоминал, зевая, *bon-mots*<sup>63</sup> и нечаянные случаи за день. Надежда Осиповна задумчиво и подозрительно на него поглядывала, и Сергей Львович, заметив недоверие, начинал прилыгать<sup>64</sup>. Она не во всем верила Сергею Львовичу и была права. Привыкнув еще с малых лет к рассказам Марьи Алексеевны о скрытности и уловках мужчин, она подозревала, что Сергей Львович имеет какую-либо низкую страсть на стороне. Жизнь с таким мужем была ненадежная. И действительно, Сергей Львович не все блистал в светском обществе: в последнее время он полюбил общество молодых сослуживцев, всё по тому же проклятому комиссариатскому штату, еще мальчишек по возрасту, но душевно к нему расположенных. Он тайно играл с ними в карты. Устраивались светские игры: бостон, вентэнь, макао и новомодные: штос, «три и три». Сергей Львович предавался игре всем существом и трепетал от страсти, открывая карту. Когда он выигрывал, ему хотелось обнять весь мир, и опасался одного: как бы игрок не забыл о долге. Дома он упорно скрывал свои развлечения. Но когда бывал в выигрыше, ему стоило большого труда удержаться и не рассказать Надежде Осиповне. Он позванивал монетками в кармане и кусал себе губы. Потом вздыхал: в его собственном доме его не понимали.

#### 4

Раз в месяц Сергей Львович, приняв озабоченное выражение, выезжал с семьей к матушке, Ольге Васильевне, которая жила в Огородной слободе. Дом ее был большой, холодный, она никуда не выезжала. После жизни, проведенной в больших страстях, она управляла теперь кучей старух и тремя подслеповатыми лакеями. Управлять жизнью сыновей ей было уже не под силу, она только изредка роптала. Дочери были у нее в совершенном подчинении.

В доме была комната, заставленная разным хламом, превращенная в кладовую, куда она никогда не заходила. Сыновья, когда бывали, с привычной детской трусостью косились на запертую дверь: в этой комнате провел последние годы отец. О Льве Александровиче не вспоминали ни Ольга Васильевна, ни сыновья, по молчаливому сговору. Только подслеповатые лакеи иногда под вечер или ночью, когда не спалось, говорили о нем. Человек он был пылкий и жестокий и первую жену уморил из ревности к итальянцу-учителю, взятому в дом. Она умерла в его домашней тюрьме, в подвале, на соломе, в цепях. Итальянцу же он учинил такие непорядочные побои, что тот тут же на месте и умер.

Ольга Васильевна была его второй женой. Она уцелела. Под конец супруг одичал. Ему была отведена боковая, и Ольга Васильевна стала править домом и детьми. И была самая пора. Лев Александрович вышел в отставку сорока лет, сразу после смерти императора Петра III; он не захотел признать Екатерину императрицей и за это сидел два года в крепости. Выйдя из крепости, он тратил состояние с бешенством и злостью не то на самого себя, не то еще на кого-то. Он был любитель быстрой езды и загнал за свою жизнь конюшню дорогих коней. Встречные сворачивали в канавы, слышав пушкинскую езду. Когда Ольга Васильевна принялась за счета и закладные, она почувствовала трясину под ногами: состояние оползло со всех концов. Она положила этому предел, утихомирила заимодавцев, собрала все, что осталось, и вывела детей в люди.

Десять лет назад Лев Александрович умер. Давно дожидаясь этого, Ольга Васильевна после его смерти неожиданно почувствовала пустоту и скуку. Она перестала выезжать из дому

<sup>63</sup> Остроты (фр.).

<sup>64</sup> Прилыгать – лгать, прибавлять ложь к истине.

и решила, что все равно никого не спасешь, ничего не остановишь, да и ни к чему. Со времени мужнина падения Ольга Васильевна не переставала осуждать Екатерину и в особенности Орловых:

– Графы! Конюхи, им с кобылами возиться да на кулачки биться.

Законным царем она считала Петра III и ворчала, когда при ней называли из усердия Екатерину матушкой:

– И матушка и батюшка!

Всю жизнь боясь припадков и странностей мужа, она с огорчением видела, что сыновья не в него – мелки. Строго их одергивая, она была бы, может, и рада, сама того не ожидая, большому с их стороны загулу, буйству или же другим крайностям. Нет! Это все кончилось. Сыновья – прыгуны.

Старуха протягивала Сергею Львовичу плоскую восковую руку для поцелуя и острыми глазками всматривалась в ненадежного сына. Оба сына были на подозрении в мотовстве и слабости. Она дважды переделывала завещание. Но Василья, Васеньку, она все же почитала как старшего в семье и извиняла его неудачи тем, что ему «счастье не служит». О Сергее Львовиче она думала, что просвищется, и очень скоро, в пух. На невестку смотрела с испугом и была уверена, что «Сергея карьер не открывается» именно из-за нее. Детей она осторожно потрепывала по щекам, заглядывала в глаза и, сдержав вздох, тотчас усылала погулять.

– Что им в комнатах шуметь!

Сергей Львович преображался при матушке, как то бывало с ним, когда он приходил в комиссариатский штат. Вид у него был сдержанный. Он рассказывал старухе о Петербурге и придворных новостях и пугал заграничными событиями – говорил о французских победах, о Бонапарте и консульше Жозефине, креолке. Матушка косилась: Сергей Львович сыпал именами самых высоких петербургских людей, как будто только что с ними расстался. Случалось, он поругивал их.

– Се coquin de<sup>65</sup> Кочубей, – говорил он.

Однажды он напугал мать, сильно обругав князя Адама Чарторижского<sup>66</sup>, бывшего в силе.

– Аристократия его фальшивая, – сказал он, – а сам он *bâtard*<sup>67</sup>, знаем мы эти дворские гордости. Мать его интриганка и гульбиная полька, продалась французам – вот и всё.

Ольга Васильевна расстроилась. Сынок, ни дать ни взять, норовил в крепость, как когда-то отец. И, с другой стороны, какую силу бунтовщики взяли, французы! Сын уже не казался ей более свистуном: в Москве знали, что времена неверные, царь молод, а третья правда у Петра и Павла. Старики теперь падали, молодые возвышались. Вот сидит сын с этим его коком надо лбом и с арапкою своею, а потом, смотришь, и в чести.

Старуха шурила на него глаза. Она была побеждена.

Вечером, лежа в постели, которую ей до того согревала самая толстая девка, Ольга Васильевна говорила своей полуслепой доверенной Ульяшке:

– Арапки теперь большую силу взяли. В Париже у *на́большего* ихнего – как зовут, не упомню, – тоже арапка в женах.

А Ульяшка ей поддакивала:

– Все, как один, нового захотели, свежинки.

---

<sup>65</sup> Этот мошенник (*фр.*).

<sup>66</sup> Чарторижский Адам (1770–1861) – польский и российский политический деятель.

<sup>67</sup> Незаконнорожденный (*фр.*).

## 5

Они жили теперь в порядочном деревянном доме, Юсуповском, рядом с домом самого князя, большого туза. Сергей Львович был доволен этим соседством. Князь, впрочем, редко показывался в Москве. Раз только летом видел Сергей Львович его приезд, видел, как суеился камердинер, открывали окна, несли вещи, и вслед за тем грузный человек с толстыми губами и печальными нерусскими глазами, не глядя по сторонам, прошел в свой дом. Потом князь как-то раз заметил Надежду Осиповну и поклонился ей широко, не то на азиатский, не то на самый европейский манер. Вскоре он прислал своего управителя сказать Пушкиным, что дети могут гулять в саду когда захотят. Князь был известный женский любитель, и Надежде Осиповне было приятно его внимание. Вскоре он уехал.

А управитель был в отчаянии от жильцов.

«Маиор господин Пушкин, – писал он в отчете князю, – что в среднем доме, как вперед в мае месяце за месяц уплатил, так, почитай, уже с полгода ничего не платит, и я трижды заходил, прося уплатить, то велят говорить, что дома нет. И я, вашего сиятельства покорный слуга, прошу мне прислать указ, каково мне именно говорить с маиором Пушкиным или совсем от квартиры отказать».

Между тем у Сергея Львовича случилось горе: скончалась матушка Ольга Васильевна. Заболев, она призвала своих сыновей, долго на них глядела и, погрозив обоим пальцем, умерла.

Сергей Львович, схоронив мать, тотчас же переехал в лучший и более просторный дом неподалеку.

У Надежды Осиповны блеснули глаза: она любила переезды. Управитель сам помогал возчикам укладывать мебели и утварь. Пользуясь разрешением князя, детей по-прежнему посылали гулять с нянькой Ариной в Юсуповский сад.

## 6

Сад был великолепный! У Юсупова была татарская страсть к плющу, прохладе и фонтанам и любовь парижского жителя к правильным дорожкам, просекам и прудам. Из Венеции и Неаполя, где он долго был посланником, он привез старые статуи с обвислыми задами и почерневшими коленями. Будучи по-восточному скуп, он ничего не жалел для воображения. Так в Москве, у Харитонья в Огородниках, возник этот сад пространством более чем на десятину<sup>68</sup>.

Князь разрешал ходить по саду знакомым и людям, которым хотел выказать ласковость; неохотно и редко допускал детей. Конечно, без людей сад был бы в большей сохранности, но нет ничего печальнее для суеверного человека, чем пустынный сад. Знакомые князя, сами того не зная, оживляли пейзаж. Пораженный Западом москвич шел по версальской лестнице, о которой читал или слышал, и его московская походка менялась. Сторожевые статуи встречали его. Он шел вперед и начинал, увлекаемый мерными аллеями, кружить особою стройною походкой вокруг круглого пруда, настолько круглого, что даже самая вода казалась в ней выпуклой, и, спустясь через час все той же походкой к себе в Огородники, он некоторое время воображал себя прекрасным и только потом, заслышав: «Пироги! Пироги!» – или повстречав знакомого, догадывался, что здесь что-то неладно, что Версаль не Версаль и он не француз.

Сад был открыт для няньки Арины с барчуками.

Арина смело поднималась по лестнице и строго наблюдала, чтоб барчуки и барышня Ольга Сергеевна чего-нибудь не обронили или не поломали какой балясины<sup>69</sup>. Вид у нее был озабоченный. Избегая смотреть на статуи, она все внимание отдавала пруду.

<sup>68</sup> Десятина – старая русская мера площади, равная 1,45 га.

<sup>69</sup> Балясины – невысокие фигурные столбики в виде колонн, поддерживающие перила заграждений.

– И не шелохнется, – говорила она, – в такой воде, батюшка, рыбе скучно. Глянь, какая сытая.

Барчук не хотел смотреть на рыбу, он исподлобья смотрел на Диану. Он знал о ней нечто. Управитель однажды сказал ему, что это – Диана, а в другой раз, что это – нимфа. Дома он спросил отца, кто такая Диана. Сергей Львович долго смеялся, а потом значительно объяснил, что это одна из богинь Олимпа, девица. Богиня, равнодушно закинув голову, грела на солнце острые соски и тонкие колени. Большой палец ноги был у нее отбит.

– Тьфу! – огорчалась Арина и тихонько сплевывала. – Может, батюшка, побегаετε округ пруда?

Они переходили на просторную площадку, лужок, покрытый жирной травой. Дорожка была усыпана сырым желтым песком. Римский фонтан стоял на самой середине площадки, в каменную чашу спадала стеклом вода.

– Что твоя мельница!.. – говорила, улыбаясь, Арина. Она любила это место. Фонтан казался ей забавным.

Она говорила таинственно:

– Богатые татары, батюшка Александр Сергеевич, всегда любят, чтоб вода вот так в саду текла.

Он убегал. Нянька возилась с Ольгой Сергеевной, хлопотавшей в песочке, и утирала нос Николаю Сергеевичу.

Он убегал далеко за правильную аллею и шел боковыми дорожками, мимо белых лиц и каменных животов, пока не сбивался с пути. Он издали слышал голоса, зов няньки и не обращал на него никакого внимания. Его искали. Он убегал все глубже. Здесь уж была татарская дичь и глушь, новый правильный сад обрывался – начинался старый. Стволы были покрыты мхом, как пеплом; хворост лежал вокруг статуй. И их глаза с поволокой, открытые рты, их ленивые положения нравились ему. Сомнительные, безотчетные, как во сне, слова приходили ему на ум. Сам того не зная, он долго бессмысленно улыбался и прикасался к белым грязным коленям. Они были безобразно холодные. Тогда, ленивый, угрюмый, он брел к пруду, к няньке Арине.

Лето было удушливое; Москва, как Самарканд, сгорала от жары. Листья висели неживые, запылились. Сергею Львовичу староста из Болдина доносил, что хлеб сгорел. Надежда Осиповна в одной сорочке бродила по полутемным комнатам: днем запирались ставни. Осенью земля долго не остывала. Дети целые дни проводили в Юсуповском саду. Правильные луга и воды умеряли все, даже самую жару.

Было два часа пополудни, сонное время. Арина дремала на скамье, полуоткрыв рот. Вдруг нечувствительно набежал ветер, листья зашевелились на деревьях. Он увидел, как тонкое каменное тело дважды покачнулось вперед, как будто пошло на него. Сердце его остановилось. Николай и Ольга заплакали. Арина проснулась. Бессмысленно лукавя, он притворился перед нянькою, что все время смотрел на пруд.

Они пошли домой. Только к вечеру вестовщики разнесли, что в Москве в этот день было землетрясение.

Вечером стоял большой туман. Ночью он не спал и прислушивался. Глубоко, протяжно дышала Арина, словно пела. Послышались за дверью босые тяжелые шаги, словно шел крупный зверь, – мать бродила по комнатам. Потом она звенела стаканом, пила воду и тяжело дышала. Отец что-то сказал или позвал ее издали, она в ответ засмеялась. Потом босые емкие шаги опять пошли отдаваться по комнатам. Он заснул.

Пять дней в Москве стоял густой туман, и люди натыкались друг на друга. Кругом только и говорили, что о землетрясении. В стене одного погреба нашли трещины, и их ходили смот-

реть как достопримечательность. На Трубе<sup>70</sup> оказалась яма в аршин<sup>71</sup> шириной. Бабушка Марья Алексеевна утверждала, что чувствовала, как земля дрожит.

– Только что Николашке наказала пастет запекать, – села, вижу: стол, как студень, ходит, – говорила она, сама сомневаясь.

Единственно крепкою верою в доме Пушкиных была вера в приметы и гадания. Марья Алексеевна, если встречала бабу с пустыми ведрами, тотчас возвращалась домой. Надежда Осиповна боялась сглаза. Девушкою она всегда на Святках лила воск и нагадала суженого с острым носом. Даже Сергей Львович, встречая попа, тихонько складывал кукиш. О чудесных совпадениях бабушка Марья Алексеевна рассказывала по вечерам не торопясь.

Теперь все в доме имели суровое выражение: землетрясение было не к добру. Сам Карамзин должен был разъяснить в особой статье жителям Москвы, что землетрясение – явление мира физического. Но моральные струны у него самого трепетали. Напрасно он призывал всех наслаждаться жизнью, как делают жители островов Антильских, Филиппинских, Архипелага, Сицилии, особенно Японии, где землетрясение бывает чуть ли не каждый день, как в Москве гроза летом. Тут же он некстати упомянул о землетрясении, которое до того было в Москве при Василии Тёмном, когда Москва сгорела дотла.

Физическое же объяснение еще более напугало и Марию Алексеевну, и Надежду Осиповну: что это огонь теснит воздушные массы, заключенные, как в тюрьме, в глубине земли, и они с бурным стремлением ищут себе выхода. И что московское землетрясение – эхо другого, что удары всегда имеют один центр, что в земле есть пустоты, имеющие сообщение между собою, в которых свирепствует воспаленный воздух. И что две части мира могут колебаться на разных концах в одно время! Таково было местоположение всех городов на земле, в том числе и Москвы, с Неглинной и Яузой. Единственное утешение было, что, как Николай Михайлович полагал, может пройти и три с половиной века до нового землетрясения – как от Василия Тёмного прошло, – а стало быть, на их жизнь хватит.

Надежда Осиповна воображала по ночам, как огонь ходит по пустым коридорам, вроде их коридора, и толкала в бок Сергея Львовича. Она говорила, что люди непременно подожгут, что Николашка сегодня смотрел, как бригадир с галеры, и плакалась, что у слабых бар всегда дворня – разбойники. Такие разговоры ходили теперь по Москве. Сергей Львович ожесточенно сопел и засыпал.

На третий день повар Николашка напился пьян и выпил в людской за здоровье консула Наполеона. Сергей Львович приказал отодрать его и лично распорядился в конюшне наказанием.

Потом туман исчез, все стояло на своем месте, землетрясение забыто.

## Глава третья

### 1

Сестрица Аннет не вышла замуж, матушка скончалась, произошло землетрясение, и вскоре случился переворот в жизни Василия Львовича, все в том же году. Жена покинула его, они разъехались.

Сестрица Аннет нашла свое призвание. Она и Елизавета Львовна пришли в волнение, разъезжали непрестанно от Василия Львовича к Сергею Львовичу и даже ездили гадать к одной московской ворожее.

---

<sup>70</sup> На Трубе. – Имеется в виду Трубная площадь в Москве.

<sup>71</sup> Аршин – старая русская единица измерения длины, равная 0,7112 м.

Василий Львович был растерян и потирал лоб.

Дважды при посторонних начинал рыдать; ему оказывали помощь, он тотчас охотно, долго пил воду и затем махал рукой в отчаянии или недоумении.

Все рушилось.

– Первый раз в жизни случается, – говорил он простодушно.

Наиболее строгими в семье защитниками чести старшего брата явились Сергей Львович и сестрица Аннет. Имя Капитолины Михайловны забыто и изгнано; она звалась: злодейка. Когда заходила о ней речь, Анна Львовна шикала и высылала вон детей, а Сергей Львович шурился значительно.

Из объяснений Василья Львовича, ахов, охов, всплесков, восклицаний и лепета ничего нельзя было понять. Впрочем, во всем остальном он был прежний: много ел, завивался и даже между слёз сказал экспромт.

– Душа моя, душенька Basile, припомни, с чего началось, – просила его сестрица Анна Львовна.

И Василий Львович припомнил. Участились посещения кавалергарда князя В. – Василий Львович так и сказал: князя В., prince Double W. Он заподозрил, стал увещевать, увещевал – и однажды не застал ее дома. Бегство из дому он, брызгая слюной, не мог объяснить не чем иным, как изменой. Жена, по его мнению, собирается даже замуж за другого. Это было неслыханно. Жена от живого мужа собиралась замуж!

Сергей Львович отрывисто сказал:

– Имя.

Он требовал имени соблазнителя. На вопрос Василья Львовича, на что ему имя, Сергей Львович ответил холодно:

– Для дуэли.

Василий Львович, избегая смотреть в глаза брату, отказался назвать имя.

Он не уверен, точно ли это князь В., сказал он. Может быть, князь В. был лишь для отводу глаз, подставное лицо. Хотя он однажды, точно, тютюировал<sup>72</sup> ее, говорил ей «ты», но все остальное неизвестно.

– Он ее тютюировал? – медленно спросила Анна Львовна. – В твоём присутствии?

– Да, но он кузен, – ответил Василий Львович с блуждающим взглядом.

– Le cousinage est un dangereux voisinage<sup>73</sup>, – пропела тонким голосом Анна Львовна, сжав губы. Лицом она была решительно похожа в это мгновение на католического прелата<sup>74</sup>.

– Он-то, может, мой дружок, ее только тютюировал, но она-то – вспомни, душа моя, – она-то, может стать, строила куры<sup>75</sup>?

В присутствии Василья Львовича, щадя его, Анна Львовна никогда не называла золовку злодейкой и говорила просто: она.

Вообще здесь была какая-то тайна. Горничная Аннушка или, как Анна Львовна ее называла, Анка, ходила тихонько, с заплаканными глазами, с новой нарядной брошью. Она была, как всегда, мила, бела и дородна. Анна Львовна высылала ее вон, причем Василий Львович как-то вдруг моргнул и шмыгнул носом.

Внезапно Василий Львович, не глядя никому в глаза, но довольно ясно, заявил, что претензий у него на жену никаких нет; что, не зная в подлинности дела, он желает одного: чтобы жена вернулась, и что он с ней разводиться никак не желает; напротив того, на будущее время хочет жить с ней неразлучно; что он муж и христианин и готов на всё.

---

<sup>72</sup> *Тютюировать* – обращаться на «ты», тыкать.

<sup>73</sup> Родство – опасное соседство (*фр.*).

<sup>74</sup> *Прелат* – титул, присваиваемый в католической церкви лицам, занимающим высшие должности.

<sup>75</sup> *Строить куры* – заигрывать, ухаживать за кем-то.

Сергей Львович был глубоко тронут.

– Мой ангел, – сказала Аннет.

Василий Львович твердым голосом повторил, что он прежде всего муж и христианин. Он заметно ободрился и тут же, надев новый синий фрак и опрыскав себя духами, пошел гулять по бульварам, в первый раз после происшествия.

Сергей Львович отменил свое решение о дуэли. Решено вступить с непокорною в переговоры. Надежду Осиповну уполномочили повидаться с преступницей и увещевать.

Надежда Осиповна против ожидания вернулась с каменным лицом и сухо, даже с каким-то злорадством, сказала, что Капитолина Михайловна не вернется никогда, что она готова умереть в монастыре, на соломе, и питаться ардами...

– Акридами<sup>76</sup>, – поправил Сергей Львович.

...чем вернуться в этот дом.

Потом Надежда Осиповна пошептала с сестрицей Аннет, и сестрица Аннет всплеснула руками.

– Если вы, Nadine, можете верить злодейке, – сказала она, – бойтесь за себя!

И брат с сестрой тотчас же поехали к Василию Львовичу.

В Василье Львовиче в этот вечер они застали разительную перемену: он опять малодушествовал, бегал по комнате и стонал. Испугавшись за его жизнь, Анна Львовна уложила его в постель. У него, видимо, начиналась горячка. Слабым голосом Василий Львович потребовал Аннушку. Несмотря на противодействие Сергея Львовича, Аннушка приведена. Анна Львовна даже усадила ее у постели больного – как сиделку. Послано за доктором.

Доктор объявил жизнь Василья Львовича вне опасности. Горячка не открылась, но Василий Львович к вечеру сказал сестре, что он пропал.

Он рассказал, что к нему явился посланец от Капитолины Михайловны или, может быть, от князя В. – он не желает об этом знать – и вынудил у него письмо. Упомянув о письме, Василий Львович стал метаться на своем ложе. Анна Львовна sprysнула его водой. Отойдя немного, Василий Львович признался, что в письме он взвел на себя чудовищный поклеп и совершенную напраслину, скрепив всё своею подписью.

– Аннушка, выдь, – сказала строго Анна Львовна. – Но, мой дружок, душенька Базиль, как же вы написали такое?

– В полном беспамятстве, – развел руками Василий Львович.

Тут он соскочил с постели и сказал сестре с необычайной живостью:

– Развода нет и не будет – в наказание, – суда не боюсь, милостивая государыня, и еще увидим!

## 2

К Капитолине Михайловне послан для переговоров Сонцев. Матвей Михайлович вернулся, пыхтя, и сказал, что сам поверить своим глазам не может: ему показывали письмо, и в письме рукою Василья Львовича ясно написано, что как Василий Львович уже два года и один месяц состоит в противозаконной связи со своею крепостной девкой, то не может по совести противиться разлучению с ним супруги его и дает ей полную мочь делать что хочет и даже выйти замуж, за кого ей будет угодно.

Василий Львович сказал, морщась:

– Не помню. Полнейшее забытие и беспамятство. И вовсе не похоже на правду. Ничего не помню.

---

<sup>76</sup> Акриды – вид съедобной саранчи.

Он было застонал, но уже гораздо легче, чем в первый раз, и вскоре натура взяла свое: назавтра же пошел он, как ни в чем не бывало, гулять и стал выезжать в театры.

Общее любопытство, однако, было сильно возбуждено. Распространился слух, что Василий Львович в самом деле сожительствует с некоей горничной Анкой.

Даже толстяк Сонцев однажды вечером, сидя в семейном кругу, рядом с сестрицей Аннет, когда речь зашла о Василье Львовиче, зажмурился, колыхнул животом и сказал, что у Василья Львовича всегда была эта народная русская фибра, жилка, Василий Львович, мол, всегда любил эту известную женскую простоту. Сестрица Аннет тотчас попросила его замолчать.

Василью Львовичу приходилось раз по пяти на день клясться своим приятелям, что он нимало не виноват, но приятели, лстя его самолюбию, называли его селадон<sup>77</sup>, фоблазом<sup>78</sup> и усмехались.

Василий Львович с ужасом почувствовал, что его прежняя приятная репутация стихотворца, человека самого по себе, и не без веса, колеблется. Его вдруг стали тютюировать – говорить ему «ты», попросту тыкать – люди, с которыми он вовсе не был короток. Слава петербургского бригады с галеры была очень приятна в Москве, когда относилась к прошлому, так сказать, окружала его издалека. Нынче же она была вовсе не уместна: Василью Львовичу иногда уже мерещился камергерский ключ; он не хотел звания какого-то фоблаза и, наконец, в самом деле, по его словам, был не так уж виноват. Во всем виноваты были несчастные обстоятельства.

Он никак не желал этой близости со всеми молокососами, которая грозила ему после скандала. О нем шептались, на него указывали пальцами.

Желая прекратить такое двусмысленное положение, Василий Львович, внутренне негодуя на жену, обратился лично к тестю. Тесть его, старый переводчик, человек в своем роде почтенный, но медленного соображения и незначительный, был перед Васильем Львовичем в долгу: только за год до того Василий Львович сработал для глухого тестева издания «Приношение религии» два вполне приличных духовных стихотворения: «О ты, носившая меня в своей утробе» и о «жене, грехами отягченной». Второе стихотворение было трогательное и, начинаясь описанием этой блудной жены:

Жена, грехами отягчённа,  
К владыке своему течет, бледна, смущённа, —

кончалось ее полным прощением.

Василий Львович приготовился в разговоре с тестем применить это стихотворение к Капитолине Михайловне.

Но дурак тесть его не принял.

Все попытки взять важный тон и отстранить от себя назойливое любопытство молокососов не привели ни к чему: важный тон сам Василий Львович выдерживал не более получаса, молокососы все более набивались в друзья.

Наконец он увидел себя сказкою всего города.

Тем временем Капитолина Михайловна подала прошение о разводе в суд. Василий Львович этого не ожидал. Он кое-как отписался, откупился, но жить в Москве становилось ему трудней день ото дня. Даже сестрица Аннет, девица, негодуя на злодейку, стала ворчать втихомолку и на Василья Львовича, а Сергей Львович решительно отстранился – пожимал пле-

<sup>77</sup> *Селадон* – Оноре, герой романа «Астрея» Оноре французского писателя д'Юрфэ (1568–1625).

<sup>78</sup> *Фоблаз* – герой романа «Приключения кавалера Фоблаза» французского писателя Жана-Батиста Лувэ де Куврэ (1760–1797).

чами и уклонялся, когда его спрашивали о брате, притворяясь непонимающим, а с братом стал разговаривать отрывисто.

Однажды, вернувшись домой из театра, Василий Львович нашел в кармане бумажку, на которой было аккуратным детским почерком написано известное стихотворение Грекура<sup>79</sup> о служанке в неизвестном переводе: «Пусть, кто хочет, строит куры всем прелестницам двора, для моей нужно натуры, чтоб от утра до утра, забывая ночь ненастну, целовать служанку прекрасну». Василий Львович обомлел.

Перевод был решительно дурной, бессмысленный, с ошибкой против меры. Без сомнения, это было дело рук юных негодяев, набивавшихся в друзья, а чтобы не возбудить подозрений, они дали дитяти переписать стишки. При всем негодовании Василий Львович тут же исправил безграмотный последний стих на другой, гораздо лучший: «Лобызать служанку страстну», и только потом изорвал бумажку в мелкие клочки.

Хуже всего было то, что к московским юнцам пристал его близкий приятель, товарищ молодости и собутыльник по петербургской «Галере», родственник и однофамилец, Алексей Михайлович Пушкин. Алексей Михайлович был существо необыкновенное. Отец его и дядя были шельмованы и сосланы в Сибирь по суду как делатели фальшивой монеты, и их приказано было именовать: «бывшие Пушкины». Сын бывшего Пушкина воспитывался у чужих людей и неосновательностью характера напоминал отца. Более того, эту неосновательность он возвел в закон и правило. Он проповедовал в гостиных афеизм: что все в жизни есть одно воображение, туман, и ничего более. В Москве он имел решительный успех и скоро стал незаменим в играх и спектаклях. Он был желчен и зол, но в злости его было нечто забавное.

Встречаясь с Васильем Львовичем в театрах и свете, он усвоил себе особую привычку изводить его намеками и остротами, вместе с тем слишком бурно проявляя любовь и дружбу. Он обнимал его, прижимал к груди, крепко целовал, потом строго смотрел в глаза ошалевшему Василью Львовичу и говорил, содрогаюсь:

– О, всё тот же! Шалопут! Соблазнитель! – и тотчас отталкивал его, как бы боясь прикосновения.

Духовные стихи Василья Львовича, изготовленные им для тестя, вызывали самую неприличную веселость Алексея Михайловича. На людном балу у Бутурлиных, стоя рядом с Васильем Львовичем и отозвавшись о стихах с горячею похвалою, он вдруг неожиданно громко прошипел в сторону, *à parte*:

– Тартюф<sup>80</sup>!

Василий Львович решительно уклонялся от всяких встреч с кузеном, но, после того как развод его огласился, от афеиста-кузена не стало житья. Он громко вздыхал, завидя Василья Львовича в обществе, и сурово грозил ему пальцем! Василий Львович стал подозревать, что стишки были посланы также не без содействия кузена.

Скандалная слава ему прискучила. Самолюбие его было пресыщено.

### 3

Василий Львович всем объявил, что едет в Париж.

Кто из приятелей верил, кто не верил; но общее любопытство было занято. Сергей Львович в глубине души не верил. В Москве только и было разговоров, что о поездке Василья Львовича. Юные бездельники друзья ставили на него куши – поедет или останется? На одном балу Василий Львович слышал, как старый князь Долгоруков сказал своему собеседнику:

– Покажи, милый, где Пушкин, что в Париж едет?

<sup>79</sup> *Грекур* Жан-Батист (1684–1743) – французский поэт.

<sup>80</sup> *Тартюф* – персонаж комедии Мольера «Тартюф, или Обманщик». Мольер – наст. имя и фамилия Жан-Батист Поклен (1622–1673) – выдающийся французский комедиограф.

Василий Львович притворился, что не слышит, сердце его с приятностью замерло, он осклабился: что ни говори, это была слава.

– Невидный, – сказал князь, – что ему Париж дался?

Так Василий Львович оказался вынужден в самом деле хлопотать о разрешении посетить Париж с целью лечения у тамошних известных медиков. Неожиданно разрешение было получено.

Василий Львович преобразился. Он вдруг стал степенным, как никогда, как будто шагал уже не по Кузнецкому Мосту, а по Елисейским Полям. Для того чтобы не ударить в Париже лицом в грязь, он каждый день что-либо покупал на Кузнецком Мосту во французских лавках – и накупил тьму стальных цепочек с фигурками, платочков, тросточек. При встречах его спрашивали с уважением, с завистью:

– Вы всё еще здесь? А мы думали, вы уже в Париже.

Теперь не только юные бездельники, но и старые друзья вновь заинтересовались им. Карамзин наказывал немедля, как приедет в Париж, писать и присылать ему письма для печати.

– Я буду писать решительно обо всем на свете, – твердо обещал Василий Львович.

Наконец срок отъезда назначен. Общее участие в сборах вознаградило Василья Львовича за месяц болезненных припадков.

За три дня до отъезда Иван Иванович Дмитриев, который тоже был задет за живое поездкой Василья Львовича, написал поэму: *Путешествие N.N. в Париж и Лондон*: «Друзья! сестрицы! я в Париже!»

Поэма тотчас разошлась по рукам, скорей, чем ведомости. Стихи были гораздо лучше всего того, что поэт писал в важном роде; они были в совершенно новом, живом и болтливом роде. Так не только стихотворения, но и самые приключения Василья Львовича давали новую жизнь поэзии.

Один из юных бездельников сунул-таки новую поэму Василью Львовичу, сказав, что это – так, безделка.

Василий Львович впопыхах забыл о ней. Вечером, усевшись у окна и смотря на всегдашний вид улицы, он хотел было писать элегию, но элегия не пошла. Ему стало в самом деле грустно, а в грустном расположении он никогда не писал элегий.

Тут он вспомнил о безделке, данной ему утром приятелем. С первых же строк он понял, в кого автор метит, – это было воображаемое путешествие самого Василья Львовича. *N.N.* и был Василий Львович. Он усмехнулся. Это была слава.

Все тропки знаю булеvara,  
Все магазины новых мод...

Часть вторая его несколько огорчила: Василий Львович будто жил в Париже – в шестом этаже.

– Вот и видно, что в Париже не бывал, – сказал, усмехаясь, Василий Львович, – там и дома-то в шесть этажей не часто встретишь, а на чердаках отроду не жывал.

Затем говорилось, правда мило, и о слабостях его:

Я, например, люблю, конечно,  
Читать мои куплеты вечно, —  
Хоть слушай, хоть не слушай их...

– Куплетов не пишу, – сказал тихонько, с бледной улыбкой Василий Львович, – а элегии... или басни... как и вы, Иван Иванович.

Люблю и странным я нарядом,  
Лишь был бы в моде, щеголять...

– Как все французы, – еще тише сказал Василий Львович.

Какие фраки! панталоны!  
Всему новейшие фасоны...

– Рифма... нетрудная, – сказал, прищурясь, Василий Львович.

Кто был в этом повинен – неизвестно, но слава Василья Львовича, чем громче она становилась, тем более отдавала фанфаронством, в ней не было ничего почтенного.

Горько глядя по сторонам, Василий Львович увидел Аннушку, она умильно на него глядела, как всегда бела, мила и дородна. Он ее обнял и утешился.

– Стихотворец и всегда лицо публичное! – сказал он ей.

Аннушка была на сносях.

В день отъезда Василий Львович струхнул. Он впервые уезжал так далеко. Сергей Львович, сестрица Аннет и все родные присутствовали при его отъезде и ободряли его.

Сергей Львович с душевным сожалением и завистью смотрел на увязанные вещи. Аннушка тихо плакала большими бабыми слезами и лобызнула барское плечо, причем Василий Львович, уже на правах заграничного путешественника, громко ее чмокнул и в первый раз назвал Анной Николаевной. Все друзья провожали Василья Львовича до заставы, там распили в честь его бутылку вина, Василий Львович обнял всех, всхлипнул, уселся, махнул платочком, тросточкой и поехал в Париж.

## Глава четвертая

### 1

К шести годам он был тяжел, неповоротлив, льняные кудри начали темнеть. У него была неопределенная сосредоточенность взгляда, медленность в движениях. Все игры, к которым принуждали его мать и нянька, казалось, были ему совершенно чужды. Он ронял игрушки с полным равнодушием. Детей, товарищей игр, не запоминал, по крайней мере ничем не обнаруживал радости при встречах и печали при разлучении. Казалось, он был занят каким-то тяжелым, непосильным делом, о котором не хотел или не мог рассказать окружающим. Он был молчалив. Иногда его заставляли за каким-то подобием игры: он соразмерял предметы и пространство, лежащее между ними, поднося пальцы к прищуренному глазу, что могло быть игрою геометра, а никак не светского дитяти. Откликался он нехотя, с досадою. У него появлялись дурные привычки: он ронял носовые платки, и несколько раз мать заставляла его грызущим ногти. Впрочем, последнее он, несомненно, перенял от самой матери.

Мать подолгу смотрела на него, но, когда он замечал это, отводила взгляд... Дяденька Петр Абрамович был прав: он был решительно похож на деда, Осипа Абрамыча. Она не помнила отца и с детства боялась его имени; Марью Алексеевну она не спрашивала, но всем существом понимала и чувствовала: сын пошел в него – и ни в кого другого. Она стала прикалывать булавками носовой платок, который мальчик терял. Это было неудобно, и он начал обходиться без платка. Она стала связывать ему руки поясом, чтобы он не грыз ногтей. Неизвестно, как и откуда могли прийти опасности, проявиться дурные и странные черты у этого мальчика, похожего на своего деда. Мальчик не плакал, толстые губы его дрожали, он наблюдал за матерью. Вообще он обещал быть дичком. Тетка Анна Львовна верхним чутьем все это почуяла. Она

теперь часто бывала у них. Брат Василий был временно спасен, в Париже, приходилось спасать брата Сергея. Надеине она ничего не говорила, но всё кругом подмечала, все непорядки. Если к столу подавали, случалось, надтреснутый стакан, она говорила:

– Ах, стакан битый!

Когда Никита раз позабыл поставить Сергею Львовичу уксус, она сказала ему холодно:

– Принеси уксус, горчицу и все к тому принадлежащее.

Надежда Осиповна при ней нарочно роняла чашки, чтоб чем-нибудь разрядить гнев, который у нее накапливал.

Но в одном они сходились – и Аннет и Надеина – Александр рос совсем не таким, как нужно: в нем не было любезности. Тетка полагала, что воспитание виновато.

– Александр, встаньте, – говорила она.

– Сашка, поблагодари отца и мать.

Сашкой звали его отец и мать, когда изображали нежность. Но тетка произносила это имя со злостью, и он не терпел, когда она его так называла.

Александр вставал. Он благодарил отца и мать. Однажды, посмотрев на тетку, он вдруг улыбнулся. Тетка обомлела: улыбка дитяти была внезапна, неуместна и дерзка.

– Чему ты смеешься, что зубы скалишь? – спрашивала она с тревогой. – Ну, что смешного нашел?

– Сашка, поди вон, – приказал Сергей Львович.

Александр встал из-за стола и пошел вон.

У дверей наткнулся он на Арину. Глядя на него жалостливо, Арина сунула ему пряник и мимоходом прижала к широкой теплой груди.

Он пробирался по родительскому дому волчонком – бочком, среди тайно враждебных ему предметов. Он был неловок, бил невероятно много посуды; так, по крайней мере, казалось Сергею Львовичу. Сергей Львович с тоской чувствовал ценность падающих из рук этого ребенка стаканов. Не замечая окружающих вещей и не дорожа ими, он с необыкновенной ясностью ощущал их незаменимость в момент боя. Это было главным страхом семейства Пушкиных – убыль и порча вещей. Сергей Львович приходил в отчаяние из-за пропажи какого-нибудь платочка, он изнемогал от волнения, когда не находил на месте новой французской книжечки. Без нее жизнь казалась неполной и жалкой. Он во всем винил детей. Книжечка находилась, и он равнодушно швырял ее в сторону. Вещи казались незаменимыми, гибель их – неоплатной. Каждый стакан был в опасности.

Надежда Осиповна была неprovорного мальчика по щекам, как была слуг, звонко и наотмашь, как все Ганнибалы. Родители склонялись над осколками. Сергей Львович пытался восстановить первоначальный вид стакана и безнадежно махал рукой: невозможно! Александр бил вдребезги. Надежда Осиповна несла свой гнев в девичью; она возвращалась тяжело дыша и с отрывистой речью, но умирная. Из девичьей доносилось осторожное, тонкое всхлипывание – побитая девка скулила.

Постепенно, не сговорясь, родители начинали глухо раздражаться, если приходилось подолгу смотреть на сына. Это был ничем не любезный ребенок, обманувший какие-то надежды, не наполнивший щебетаньем родительский дом, как это предполагал Сергей Львович.

Вскоре родился третий сын и был наречен Львом.

Лев был кудрявый, веселый, круглый. Сергей Львович в первый раз почувствовал себя отцом. Он умилился и поцеловал Надежду Осиповну с чувством. Слезы текли по его лицу. Надежда Осиповна тоже полюбила сына, сразу и вдруг, без памяти. Остальные дети для нее более не существовали. Через неделю все пошло своим порядком.

Иногда Сергей Львович, занятый своими мыслями, вдруг с удивлением замечал своего старшего сына. Он недоумевал, огорчался. Дети кругом были именно детьми, во всем милом значении этого слова. Его сын напоминал сына дикаря, какого-нибудь Шатобриана натчеза<sup>81</sup>.

Он охотно читал Шатобриана, и самолюбию его льстило, что его брак с Надеждой Осиповой всеми замечен. Но одно дело любовница, даже жена, и совсем другое дело сын. Так жадно стремиться к тому, чтобы все было как у всех достойных, – и встретить такое жестокое отовсюду непонимание! Сергей Львович втайне сам становился в тупик перед своей семейственной жизнью.

В квартире – а они меняли их что ни год – он прежде всего занимал кабинет и место у камина. В кабинете стоял письменный стол в полкомнаты, на котором всегда лежал лист чистой бумаги. Сергей Львович писал там свои письма. Он смотрел в окно и останавливал всех людей, пробежавших на кухню и в людскую. Он спрашивал их, кто, куда и зачем послан. Писем он писал мало. Чистый лист лежал неделями на его столе. Глаза застилало дымкой, губы шевелились и улыбались. Сергей Львович погружался в мечтательное остроумие: он ставил в тупик воображаемых противников неожиданными эпиграммами. Грубая существенность не достигала его кабинета: домашние уважали его занятия. Порою он отмыкал ящик стола особым ключиком и доставал заветные тетради. Они были в зеленых тисненых переплетках с золотыми разводами по корешкам. Он открывал их и медленно, прищуря глаз, читал. Рука его слегка дрожала. Рисунки были исполнены тушью, розовой и красной краской, а то и чернилами, рукою опытной и смелой. Весь Пирон<sup>82</sup>, Бьевриана<sup>83</sup>, избранные отрывки из Дора<sup>84</sup>, а потом шла безыменная мелкая сволочь Парнаса, до того пряная, что у Сергея Львовича застилало взгляд. Были и русские авторы, но Барков<sup>85</sup> был груб, и до французов ему было вообще далеко. Французы и самую наготу умели делать забавной.

Надежда Осиповна, которая кочевала, как цыганка, из комнаты в комнату, то и дело меняя расположение комнат и порядок мебели, все изменяя на своем пути, не осмеливалась нарушать его занятий. Ее жизнь, впрочем, сосредоточивалась в спальне: там она сидела, не выходя по целым дням, нечесаная и немытая, и грызла ногти, пока не было гостей. Вдруг находила на нее охота воспитывать детей. Или с месяц подряд каждый вечер изнеможенный Сергей Львович должен был вывозить жену. Потом мать снова погружалась в пустынную спальню.

Сергей Львович молодел при гостях лет на десять, потому что никто, кроме гостей, не мог достаточно оценить его. Он и жил и дышал на людях. Утром, прохаживаясь у зеркала в гостиной, он даже, случалось, мельком репетировал первый момент появления гостя: наклонял голову, легко, почти неуловимо, и тотчас откидывал назад. Александр видел, как губы отца шевелились и улыбались, а взгляд становился любезным и умным. Заметив Александра, он морщился, принимал скучный вид. Ему мешали.

Александр любил гостей. Зажигали свечи, у матери становился певучий голос. Смех ее был гортанный, как воркотня голубей весной, у голубятни. Отец сидел в креслах уверенно, не на краешке, как всегда. Он казался главою семьи, владел разговором; мать безропотно его слушала и ни в чем не возражала. Это была другая семья, другие люди, моложе и лучше, незнакомые. При гостях мать ему улыбалась, как только иногда улыбалась Лёвушке. В их присутствии о них рассказывали гостям длинные истории, которые он с удивлением слушал, и называли их *mon Sachka* и *mon Lolka* с нежностью, которой он боялся.

<sup>81</sup> *Шатобри́анов натчез*. – Упоминается натчез из романа «Натчезы» французского писателя Франсуа Рене де Шатобри́ана (1768–1848), посвященного жизни североамериканского племени натчезов.

<sup>82</sup> *Пиро́н* Алексис (1689–1773) – французский поэт и драматург.

<sup>83</sup> *Бьевриа́н(а)* – сборник каламбуров французского маркиза де Биевра́ (1747–1789).

<sup>84</sup> *Дора́* Жан (1508–1588) – французский поэт.

<sup>85</sup> *Барко́в* Иван Семенович (1738–1768) – русский поэт.

В особенности часто это случалось при Карамзине, лукавом, медленном и спокойном. Александр понимал, что Карамзин – это не то, что другие. Александра при нем забывали отсылать спать.

Истинный праздник был однажды, когда Сергея Львовича посетил какой-то сосед по нижегородскому поместью, в котором тот так и не бывал еще ни разу. Сергей Львович говорил тонко, а на все хозяйственные вопросы отвечал значительными умолчаниями – главные его поместья были, по его словам, в Псковской губернии – и выказал себя дальновидным хозяином. Дважды, скользнув взглядом по гостю и вздохнув, он упомянул о деде своем, Александре Петровиче. Неуклюжий гость был очарован и смотрел на Надежду Осиповну как на диво. Потом родители долго, посмеиваясь, вспоминали манеры простака.

Гости уезжали, мать безобразно зевала и расстегивала пояс, который все время теснил. Мебели были серые, не новые.

Но гости все реже показывались: у Пушкиных, как ни билась Марья Алексеевна, масло было гнилое, яйца тухлые. Карамзин был занят важными делами и мыслями. Сергей Львович становился ему неинтересен.

## 2

Когда случалось, что Сергей Львович почему-либо оказывался дома, он всегда сначала озирался – не ускользнуть ли? Потом мирился, надевал халат и занимал место у камина. Здесь в такие вечера он любил просматривать известия о производствах его бывших гвардейских товарищей. Один был генерал, другой командовал полком, третий состоял при Голицыне. Новое царствование открыло карьеру его товарищам. Самая мысль о службе претила ему; он считал единственно ценным дворянские вольности и приятное препровождение времени. Он всегда утверждал это – и все же огорчался.

Камин привлекал его игрой углей и теплом. Брат Василий недаром написал счастливое послание к камину. Теперь он в Париже и наслаждается не только камином и не только игрою углей. Николай Михайлович печатает его письма из Парижа в своем журнале. Парижские театры! Бог мой! Так ошибки приводят к счастью. Он тайно и глубоко завидовал брату, главным образом его ошибкам. У него часто спрашивали о брате, и Сергей Львович каждый раз бывал и польщен и огорчен: Василий Львович ни разу не написал брату. Москва не забывала Василья Львовича; часто и охотно воображали его фигуру на Елисейских Полях, вблизи Бонапарта или мадам Жанлис<sup>86</sup>. Монфор нарисовал картину: Василий Львович стоит разиня рот перед востроносым Бонапартом, и шляпа, выпавшая из рук, лежит тут же, на земле.

А Сергей Львович сидел перед камином, в Москве. Он читал здесь иногда роли Мольера, читал благородно, без дурных выкриков новой площадной школы. Особенно ему удавались роли Гарпагона<sup>87</sup> и Тартюфа. Сергей Львович сильно передавал сожаления Гарпагона о шкапулке и тонко – благородную подлость Тартюфа.

Надежда Осиповна не любила его декламации. Может быть, ей казалось смешным актерское самолюбие мужа, а чтение наводило скуку; она любила в театре все, кроме сцены. А может быть, странным образом во время этой декламации обнаруживались слабые стороны его характера.

Но он нашел слушателя в сыне. Он тревожным взглядом следил за Александром, когда тот появлялся у камина; потом равнодушно вздыхал и начинал тихонько напевать вздор.

Александр слушал. Отец как бы не замечал его присутствия. Тогда Александр просил отца почитать Мольера. Говорил он отрывисто. Сергей Львович непритворно изумлялся.

<sup>86</sup> *Жанлис* Стёфани де Сент-Обэн (1746–1830) – французская писательница.

<sup>87</sup> *Гарпагон* – главное действующее лицо комедии Мольера «Скупой».

– Вы хотите? – говорил он неохотно. – Но у меня вовсе нет времени. Впрочем, извольте. Самолюбие его огорчалось только тем, что сын ни разу не выразил своего одобрения или восторга; впрочем, внимание, с которым он слушал, было лестно.

Сергей Львович был чтец прекрасный, он знал это. Он живьем чувствовал Мольеров стих и всегда соблюдал цезуру<sup>88</sup>; лучше же всего удавались ему Мольеровы умолчания и перерывы.

В «Школе мужей» это у него бесподобно выходило:

Il me semble.....  
Ma foi.....<sup>89</sup>

Он смотрел на кресла, где сидел слушатель, не замечая его и кланяясь, когда нужно, входящей Эльмире. Слова и пространство перед камином и даже самый сертук его приобретали необыкновенное достоинство. Когда в дверь входили, он смолкал, оскорбленный. В особенности не терпел он присутствия Марьи Алексеевны и при ней становился сух и насмешлив, цедил слова.

Кончая сцену, он присматривался к своему слушателю и оставался доволен.

– Мольер превосходно все понимал, – говорил он тоном превосходства.

Еще раз украдкой поглядев в лицо сына, он хлопал в ладоши:

– Петрушка! Снять со свеч!

Он забывал о Мольере, о сыне и возвращался к действительности.

### 3

В детскую комнату он не заглядывал, считая это для себя смешным и неудобным, ненужным. Только раз просидел он в детской час и более. Дети с интересом наблюдали за отцом, он явно от кого-то прятался. Шикнув на них, чтоб молчали, отец внимательно прислушивался к тому, что говорила мать с кем-то в гостиной. Несколько раз он хмурил брови; раз даже дернул дверную ручку, хотел выйти, но тотчас сдержался. Наконец в гостиной все стало тихо. Не обращая внимания на детей и как-то странно фыркнув, отец выскочил из детской. За все время он не сказал ни слова, как будто их вовсе не было в комнате.

Сергей Львович прятался в детской от заимодавца.

Он был брезглив; когда находил в комнате оброненную детскую вещь, двумя пальцами относил в дальний угол. Надежде Осиповне он не делал никаких замечаний, он давно отвык от замечаний, не звал и Аришки, он просто ронял детскую вещь. Этих детских вещей становилось все больше.

Вскоре Сергей Львович наткнулся на неприятность, непредвиденный случай: старший сын попросил у него денег. Александр просил денег для каких-то ребячьих мизерных вздоров. Постояв перед сыном и твердо решившись не давать ни копейки, Сергей Львович вдруг так живо представил эти ребячьи вздоры – мяч и проч., – что сразу же дал, и только потом огорчился. Он сделал открытие: сын подрастал. Сергей Львович с тайным беспокойством почувствовал, что сыновья – предмет важный, а этому сыну еще не раз понадобятся деньги.

Однажды вечером, проходя мимо детской, Сергей Львович услышал разговор и приостановился. Говорила Аришка. Он прислушался.

Аришка сказывала старшему барчуку какую-то сказку. Говорила она неспешно, иногда прерывала рассказ, зевая, и по всему было видно, что Аришка сидит за чулком. Сергей Львович улыбнулся и послушал. Вскоре он нахмурился: рассказ няньки был бессмыслен и дурного

---

<sup>88</sup> *Цезура* – постоянный словораздел в стихе.

<sup>89</sup> Мне кажется.....Честное слово..... (фр.).

тона. Он приоткрыл дверь. Нянька вязала чулок, а Сашка сидел на скамеечке и смотрел на нее неподвижным взглядом, полуоткрыв рот. Сергей Львович почувствовал себя уязвленным как отец и чтец Мольера. Ничего не сказав, он удалился. Мальчик, который говорил исключительно по-французски, который, казалось, понимал уже язык Расина<sup>90</sup>, заслушивался дворни.

В тот же вечер тонким, пискливым голосом он сказал Надежде Осиповне, что долее Сашку оставлять на руках у Аришки невозможно, если не хотят в нем впоследствии видеть невежду. Необходимо, чтобы за ним ходила мадама. Мадамы были необходимы; эти няньки-растрепы, с их нелепым говором, утомляли его.

Речь его была такова, что Надежда Осиповна, которая хотела было, как всегда, возразить, смолчала. Сейчас истинное достоинство познавалось в том, насколько удавалась французская тонкость. Надежда Осиповна одна из первых в Петербурге стала целоваться с женщинами в обе щеки, как истая француженка, вместо нелепых старых поклонов. Эта быстрота восхищала Сергея Львовича. Их дом не на шутку мог стать вполне французским домом: и книги французские, и новости, и язык, и Василий Львович в Париже. Сергей Львович иногда с восторгом замечал, что за целую неделю не произнес ни одного русского слова, кроме разве приказов, отдаваемых казачку, – «сними нагар» и «подавай обед». По-русски разговаривал он только со слугами или когда бывал сильно чем-нибудь раздражен. Сергей Львович стал даже было Никиту учить французской грамоте, да ничего не вышло. Словом, мадама была до крайности необходима. Но добыть ее было трудно, и притом не по карману. Настоящие мадамы были в большой цене и нарасхват.

#### 4

Сергей Львович всегда был скор на решения, потому что живо все воображал. Он надеялся сбыть мадаме детей с рук, а мадама будет учить их французскому языку и тонкостям. Поэтому взяли, по совету сестрицы Аннет, старушку Анну Ивановну, бедную, но благородную даму, которая легко изъяснялась по-французски и даже могла при гостях сойти за француженку, хоть и не была мадамою в собственном смысле. Востроносая старушка появилась в доме, стала воспитывать детей, пушить их за шалости, лепетать по-французски, водить на гулянье. Марья Алексеевна ее возненавидела. Они с Ариной составили род комплота<sup>91</sup> и стали упорно следить за несчастной. Старушка вскоре была уличена в проступках: жевала тайно сладости, утаенные за столом, во время гулянья заблудилась и потом все свалила на детей, будто бы ее бросивших. «Хороша матушка!» – сказала Марья Алексеевна. Наконец, видя себя теснимой со всех сторон, старушка ожесточилась и стала ворчать по-русски. Арина будто слышала даже, как старушка сказала про себя, что до сих пор у арапов не живывала. В тот же день со срамом отказали ей от места.

Мадам Лорж, которая заняла ее место, продержалась более года. С кудерьками, веселым голосом, могучего сложения, она была настоящей мадамой и даже могла делать чепцы по моде – это примирило с нею Надежду Осиповну. Она все в доме заполнила собою, и ропот прекратился. У ней были сильные руки, быстрота в движениях и вполне французская беззаботность. С утра она напевала песенки, шуршала юбками и смеялась, как только француженки могут. На детей она обращала мало внимания. Сергей Львович был счастлив и охотно беседовал с воспитательницей.

Отказала ей разом и вдруг сама Надежда Осиповна. Причиной был сам Сергей Львович, который начал кидать слишком вольные взгляды на сильные плечи французской воспитательницы. Одного такого взгляда было довольно – мадам Лорж удалилась.

<sup>90</sup> *Racine* Жан-Батист (1639–1699) – выдающийся французский драматург.

<sup>91</sup> *Комплот* – заговор, союз против кого-либо.

Гувернантки не принялись в доме.

## 5

Василий Львович приехал с тысячью парижских вещичек, в сапогах à la Souvorov, с платочками, надушенными какими-то воздушными духами, с острым коком, напoмаженный и совершенно рассеянный. Он стал еще более косить, не узнавал старых приятелей и много смеялся. Все им интересовались. Говорили даже, что Цырцея собиралась вернуться к своему супругу. Слух, впрочем, оказался ложным: Цырцея выходила замуж, но это его нисколько не обескуражило. Он привез Аннушке высокий гипюровый чепец последнего покроя, чтобы она хоть отчасти напоминала парижскую субретку<sup>92</sup>. О мадам Рекамье<sup>93</sup> отзывался он небрежно:

– Стройна, но лицом нехороша.

Хвалил ее дворец:

– Стекло, стекло и стекло. Везде стекло.

Бонапарт чрезвычайно его занимал. Он должен был подробно описать его наружность. Никто не хотел верить, что Бонапарт так мал ростом. Василий Львович приседал и подносил ладонь ко лбу, козырьком, чтоб показать рост консула. Потом с законным самодовольством он давал нюхать женщинам свою голову.

Подобно Бонапарту, он учился в Париже у Тальма<sup>94</sup> декламации и в благородной античной простоте, полуобернувшись, декламировал всем, кто желал его выслушать, Расина. Косое брюхо несколько мешало ему. Он был высокого мнения о парижском балете, значительно отзывался о парижской опере:

– «Цивильский цирюльник» бесподобен!

Много говорил о соперничестве m-lle Жорж<sup>95</sup> и m-lle Дюшенуа<sup>96</sup>.

– У Жорж жестикуляция, руки! – говорил он и протягивал обе руки.

– Но у Дюшенуа – ноги, – говорил он и вздергивал панталоны. – Боже! что за ноги!

Когда вблизи не было дам – дети в счет не шли, их никто не замечал, а они всё слушали, – он, захлебываясь, рассказывал о кофейных домах и их обитательницах. Потом он переводил дух и обмахивался платочком, платочек отдавал еще парижскими запахами.

По утрам он прохаживался по Тверскому бульвару в особом костюме – утреннем; походка его изменилась; он вздергивал панталоны. Женщины на него оглядывались. Не любя ранее Охотного Ряда, он стал его неизменным посетителем. Он рассказывал там о лавочке славного Шевета в Пале-Рояле<sup>97</sup>. У Шевета были холодный пастет, утиная печенка из Тулузы и жирные, сочные устрицы. Знаток шевелил губами, и Василий Львович прослыл гастрономом. Он сам изобретал теперь на своей кухне блюда, которые должны были заменить парижские, и приглашал любителей отведать. Некоторые блюда любители хвалили, но на вторичные приглашения не являлись. Повара своего Власа он звал отныне Блэз. На деле же он более всего любил гречневую кашу.

Карамзин, вообще начавший забывать Пушкиных, отнесся к нему благосклонно. Василий Львович снова вошел в список модных: Карамзин, Дмитриев, Пушкин; он был героем дня – l'homme du jour.

Когда Карамзин возмутился в разговоре гибельным честолюбием Бонапарта, который желает войн и ничего более, Василий Львович глубоко вздохнул:

<sup>92</sup> *Субрётка* – сценическое амплуа: находчивая служанка, помогающая господам в их любовных интригах.

<sup>93</sup> *Рекамье* Жюли (1777–1849) – хозяйка знаменитого литературно-политического салона в Париже.

<sup>94</sup> *Тальма* Франсуа Жозеф (1763–1826) – знаменитый французский актер.

<sup>95</sup> *Жорж* – Веймёр Маргарита Жозефина (1787–1867), знаменитая французская трагическая актриса.

<sup>96</sup> *Дюшенуа* – Рафён Катрин Жозефин (1777–1835) – французская трагическая актриса.

<sup>97</sup> *Пале-Рояль* – королевский дворец в Париже, построенный в XVII в.

– Бонапарт опасен! Весьма опасен!.. – и тут же рассказал, что самые вкусные пряники зовутся в Париже монашками – *nonnettes*.

Старый генерал на балу захотел было узнать подробности о войне, которую вел Бонапарт, и ругнул его канальей, но тут Василий Львович наморщил лоб и рассердился:

– Мой бог! Но о войне никто не говорит! Париж есть Париж!

Такой он вольности набрался. Он даже заказал себе кушетку, такую, как у Рекамье; она, полулежа на такой кушетке, принимала гостей и посетителей. На кушетке он и лежал теперь после обеда.

Алексей Михайлович Пушкин утверждал, что Василья Львовича изгнали из Парижа за развратное поведение и что он вывез оттуда машинку для приготовления стихов, состоящую из большого количества отдельных строк. Взяться за ручку, повернуть – и мадригал готов. Князь Шаликов, будучи музыкантом, записывал с голоса Василья Львовича последние парижские романсы.

## 6

Вскоре Василий Львович испытал такой удар судьбы, от которого другой, более положительный человек не оправился бы. Дошли ли слухи о его вольнодумстве до духовных властей, пустил ли в ход свои связи богомольный тесть, но духовные власти с новым жаром занялись делом о его разводе. Цырцея провозглашена непорочною, а Василий Львович грешником, каковым и был на самом деле. Синод<sup>98</sup> определил: дать супруге развод с правом выхода замуж, а супруга подвергнуть семилетней церковной епитимье<sup>99</sup> с отправлением оной через шесть месяцев в монастыре, а прочее время под смотрением духовного отца. Против ожидания Василий Львович перенес удар довольно бодро. Он свободно вошел в новую роль невинной жертвы. Милые женщины посылали ему цветы, и Василий Львович нюхал их, удивляясь превратности счастья. Кузен Алексей Михайлович тотчас в смешном виде изобразил епитимью Василья Львовича. Главною чертою в покаянии он выставлял переход Василья Львовича от блюд Блэза к монастырской кухне и утверждал, что Василий Львович в первый же день покаяния объелся севрюжиной.

Местоположение монастыря, избранного для епитимьи, было самое счастливое, и Василий Львович, проведенный в монастырской гостинице весну и лето, по выражению Алексея Михайловича, как бы снял внаем у Господа Бога дачу. Вообще Москва лишний раз получила пищу для разговоров. Василий Львович, которому сестрицы передавали все вести, чувствовал себя знаменитым. Иногда какая-то горечь отравляла ему это сознание. В славе Пушкиных не было ничего почтенного, а интерес к ним скандальный.

Сергей Львович, который жил как бы отраженным светом братней и кузеновой славы, принимал участие в судьбе его. Александр отлично понимал все вздохи, недомолвки и ужимки отца, то гордые, то самодовольные, то смиренные, когда отец говорил о дяде. Речь шла о славе, о светской славе. Отец был польщен величием дяди и завидовал ему. Дети знали все фарсы Алексея Михайловича о дяде; Сергей Львович наполовину верил им. Иерей, духовный отец дяди, был тайным гастрономом и поэтому слишком часто приходил увещевать духовного сына; кухня Блэза привлекала его – басня, пущенная Алексеем Михайловичем. Но сын «бывшего Пушкина» рассказывал ее для смеха, Сергей же Львович, более хладный и жесткий, негодовал. Все эти иереи раздражали его. Они разоряли Базиля, объедали его, опивали. О, эти *vieux renards de Synode*!<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> *Синод* – высший орган церковно-государственного управления Русской церковью, учрежденный Петром I. Существовал до 1917 г.

<sup>99</sup> *Епитимья* – церковное наказание, состоящее в более строгом посте и длительных молитвах.

<sup>100</sup> Старые лисы из Синода (*фр.*).

Он, не скрываясь, роптал. Сестрица Анна Львовна, услышав однажды богохульствующего брата, зажала уши и, широко раскрыв глаза, произнесла:

– Брат!

И она приказала детям выйти вон.

## 7

У него были два брата и сестра. Братец Лёвушка, малютка, был любимец; сестрица Олинька, остроносенькая, миловидная и сварливая, жаловалась на братца Сашку тонким голоском. Тетушка Анна Львовна возила ей подарочки – куколки, веерки, – она с жадностью их хранила в своем углу. Братец Николинька был болезненный и белёсый.

Он относился к ним, как к стаканам, которые не должно было ронять и за которые ему доставалось. Тетушка Анна Львовна говорила ему о Николиньке и Лёвушке, что это его братцы, что он должен поэтому отдать свой мяч Лёвушке и во всем уступать Николиньке, как младшему; он никак этого не хотел. Он старался не попадаться ей на глаза.

У дома и у родителей были разные лица: одно – на людях, при гостях, другое – когда никого не было. И речи были разные – французская и русская. Французская придавала всему цену и достоинство, как будто в доме были в это время гости. Когда мать звали Nadine, Надина, она была совсем другая, чем тогда, когда бабушка звала ее Надеждой. Надина – это было похоже на Диану, на нимфу в Юсуповском саду. Это был тот *свет*, о котором иногда говорили за столом родители и откуда мать с отцом возвращались иногда по ночам. Тетушки Анна Львовна и Елизавета Львовна произносили русские слова в нос, как французские. Отец щелкал пальцами: ему не доставало русских слов, и наворачивались другие, французские. Когда родители были нежны друг к другу, они говорили между собою по-французски, и только когда ссорились друг с другом, кричали по-русски.

Ему нравилась женская речь, неправильная, с забавными вздохами, лепетом и бормотанием. Ужимки их были чем-то очень милы. Гости быстро пересыпали русскую речь, как мелким круглым горошком, французскими фразами и картавили наперебой. Вообще, когда гости говорили друг с другом, они лукавили, как бы переодевались в нарядные, нерусские, маскарадные костюмы, и только косые взгляды, которые они украдкой бросали друг на друга, были совершенно другие, русские. Вздохи же были притворные, французские, и очень милы. Но настоящую радость доставлял ему мужской разговор, французские фразы при встречах и расставаниях. Ими обменивались, как подарками, а с малознакомыми так, как будто сражались старым, тонким оружием.

По-французски теперь говорили о войне, которая шла с французами же, и по-французски же их ругали – *les freluquets*!<sup>101</sup> о государе, который издавал рескрипты, писанные хорошим слогом, и, по-видимому, бил или собирался бить этих *freluquets*; даже о митрополите, который служил молебны. Но стоило кому-нибудь в разговоре изумиться – и он сразу переходил на русскую речь, речь нянек и старух; и болтающие рты разевались шире и простонароднее, а не щелочкой, как тогда, когда говорили по-французски. Сонцев, поговорив изящно по-французски, вдруг сказал:

– А французы-то нас бьют да бьют!

Александр всегда замечал эти внезапные переходы, после которых все говорили гораздо тише, не торопясь, все больше о дворянх, почте, деревнях и убытках.

Когда никого не было дома, он пробирался в отцовский кабинет. На стене висели портреты: Карамзин, с длинными волосами по вискам, похожий, только гораздо моложе и лучше; косоглазый и розовый Иван Иванович Дмитриев, с хрящеватым носом, которого он почему-

<sup>101</sup> Ветрогоны (*фр.*).

то не любил; и в воздушных лиловатых одеждах черноглазая девушка с широкими боками. На полках стояли французские книги. На нижней были большие томы, покрытые пылью, от которой он чихал; страницы были рыхлые, буквы просторные, рисунки изображали знамена и героев. Он ощупал их пальцем: они были выпуклые. Рядом стоял том, который ему нравился. Там тоже были рисунки – большие спокойные женщины в длинных одеждах, с открытыми ногами, с глазами без зрачков – это были все те же самые садовые нимфы и богини, и у всех были свои имена, как у живых.

## 8

– Ты, друг мой, отвернись к стене да по сторонам глазами не води, не то век не заснешь. У тебя бессонницы быть не должно: ты еще мал. Поживешь с мое, тогда, пожалуй, не спи. Я ничего тебе не стану рассказывать – всё пересказала. А в окошко не гляди – и того хуже не заснешь. В городе хуже – не спится, в деревне лучше: летом в окно клен лапой влезет, и заснешь; зимою тоже деревья. А здесь фонарь и фонарь. Стоит и моргает. Спи. Спят все кругом, и Лёвушка, и Николинька, тебе одному сна нет.

...Едем, едем – и вдруг рыдван наземь. Соскочила скоба. Дед говорит мне: «Пойдем пешком». Я отвечаю: «Не привыкла». Я вовсе не с тем ехала, чтоб пешком впервые в дом являться. Кой-как заткнули скобу. Дед очень оробел перед самыми воротами и огорчился: «Если он на вас шишкнет, прошу вас, душа моя, пасть перед ним на колени, как и я. Тогда простит».

Он очень боялся отца – женился на мне не спросясь. Я сказала: «Я не таких правил, чтоб на меня, друг мой, шишкали. Я не могу пасть на колени». А он говорит, что в Африке и все так делают и не считается за бесчестье. То в Африке, а то здесь, под Псковом. Дед даже заплакал от огорчения, слезы так и льются. Тогда еще мужчины не плакали, как теперь. Мне стало страшно, и мы сошли с рыдвана. У Иришки переоделись: он в мундир, я надела материны жемчуга – все потом прожила. Послали к старику спросить, примет ли. Ждем Матрёшку час, другой – нет ее. К вечеру мы и вовсе оробели. Сидим в избе, в чулане, совестно показаться. Дали нам хлеба с водой, как на обвахте<sup>102</sup>. Матрёшка приходит в слезах: ее отодрали. Вот эту ночь, друг мой, и я не спала – как ты.

Назавтра я объявляю, что еду назад, к родителям, и что до крайности изумлена. Дед умоляет и вдруг ведет меня к дому. Не помню, как вошли. На пороге дед – в мундире, при шпаге – пал на колени. Но я все стою; только глаза опустила. Подняла глаза и вижу: старик сидит в креслах, в расстегнутом мундире, в руках трость. Лицо черное – и не черное, а желтое; ноздри раздул. Смотрит на деда и молчит. Потом на меня. И все молчит. И вдруг поднял трость. Мне стало страшно, я вскричала и повалилась. Очнулась – вся в воде. Старик надо мною и прямо в лицо прыскает водой. Я посмотрела и опять вскричала, а он засмеялся, но только с принуждением: «Неужто, сударыня, я так страшен тебе показался? Я николи еще женщин так не пугивал».

Он был любезен. Но только на деда еще долго не глядел. И в глазах все была искорка.

...А что потом было... Ничего потом не было... Потом нечего рассказывать. Дед? Умер твой дед, нет его. Спи. Да глазами-то по сторонам не води. Ну уж я не слажу с тобой. Пусть Ирина сказку скажет или песню эту твою споет. Мочи нет как надоед...

## 9

Арина входила в комнату бесшумно и садилась у его постели в ногах. Не глядя на него, медленно покрёхтывая, позевывая и покачивая головой, рассказывала она о бесах. Бесов было великое множество. В лесу были лешие, в озере, что за господским домом в Михайловском,

<sup>102</sup> *Обва́хта* – гауптвахта.

у деда Осипа Абрамовича, у мельницы, внизу – водяной, девки его видели. В Тригорье жил леший, тот был простец, его все видели. Он мастер был аукаться. Была одна девушка, рябая, у дедушки, у Осипа Абрамовича, ходила в лес по бруснику. Как звали – все равно, нечего ее поминать; он с ней аукался и зашекотал. Вся душа смехом изошла.

«Вот вы, батюшка Александр Сергеевич, не заснете – и вас зашекочет. Ну не леший, так домовый. Он оттуда и прилетел. Вот в трубе тоненько он поет: спите, мол, батюшка Александр Сергеевич, спите, мол, скорее, не то всех по ночам извели – и бабушку, и няньку, и меня, домового вашего, Михайловской округи».

## 10

Их водили гулять всех вместе, «табором», как говорила Марья Алексеевна, – Олиньку, Александра, Лёвушку и Николиньку. Александр обычно отставал. Мальчишки дразнили его: «Арапчонок!» – и убегали в переулок. Он каждый раз вдруг закипал таким гневом, что Арина пугалась. Зубы оскаливались, глаза блуждали. К удивлению Арины, гнев проходил быстро, как начинался, без всякого следа. Дома он никому ничего не рассказывал.

В этот день он нарочно отстал и присел на скамеечку у забора. Он думал, что Арина не заметит и все уйдут далеко. В открытом окне, напротив, сидел толстый человек в халате и наблюдал улицу. Улица в этот час была незанимательна. Рядом с толстяком стояла молодая женщина и задавала корм пичуге в клетке. Толстяк, завидя Александра, обрадовался. Он живо взгляделся в него и дернул за рукав молодую женщину. Та тоже стала глазеть в окно. Александр знал, что о нем говорят – «арапчонок». Он пробормотал, как тетка Анна Львовна:

– Что зубы скалишь? – И пошел догонять своих.

Александр никогда ни с кем не говорил о деде-арапе и ни у кого не спрашивал, почему его дразнят мальчишки арапчонком. Когда однажды он спросил у отца, давно ли умер дед, Сергей Львович сначала его не понял и думал, что Александр спрашивает о его отце, Льве Александровиче. Он со вздохом отвечал, что давно и что это был человек редкой души:

– Любимец общества!

Узнав, что Александр спрашивает о деде Аннибале, Сергей Львович сначала остолбенел и сказал, что этот дед и не думал умирать, потом нахмурился и, собравшись с духом, – дело было в присутствии Марьи Алексеевны, – объявил, что Александр не должен об этом деде думать, потому что он Пушкин, и никто более.

– И бабушка твоя – Пушкина, и мать.

Марья Алексеевна молчала.

Сергей Львович рылся после этого более часа в каких-то бумагах в своем кабинете и вдруг выскочил оттуда, бледный как полотно:

– Пропала!

Оказалось, пропала родословная, целый свиток грамот, который передал ему на хранение, уезжая, Василий Львович. Ломая руки, Сергей Львович говорил, что он конверт запечатал родовой печатью, ящик стола запер на ключ, а там вместо родословных свитков лежат теперь стихи, альбом и старый пейзаж Суйды. Дрожащими пальцами Сергей Львович рылся во всех ящиках своего стола, и домашние помогали ему, бледные и растерянные. У двух секретных ящиков Сергей Львович замешкался и не открыл их.

– Там бумаги секретные... – сказал он скороговоркой и нахмурившись, – масонские<sup>103</sup>.

Марья Алексеевна замахала руками и зажмурилась. Она боялась масонов.

<sup>103</sup> *Масонские* – документы религиозно-этического движения – масонства, возникшего в XVIII в. в Англии и распространившегося в Европе и России.

Наконец грамоты нашлись, свитки были в полной сохранности, Сергей Львович просто запечатывал, что запер их не в стол, а в особый шкафчик, где лежали редкие книжки. Он блаженствовал.

Медленно развязав большой сверток, связанный веревочкой, он сломал красную большую печать и показал старые грамоты Александру.

– Изволь посмотреть сюда – видишь печать? Это большая печать. Письмо старое, но мне говорили, что здесь за войну с крымцами жалуются вотчина, двести четвертей<sup>104</sup> или около того. А это – судебный лист; это, впрочем, не важно. – И, понизив голос, Сергей Львович сказал сыну: – Твой дед этою грамотой вовсе уволен от службы, в Abschied<sup>105</sup> за болезнями. Это было, впрочем, более дело государственное.

## 11

Когда ему было семь лет, дом разом и вдруг распался.

Марья Алексеевна давно махнула рукой на зятя и дочь. Крепилась-крепились и однажды решилась: наскребла вдовьих денег, достала из шкатулки какие-то закладные и рядные, ездила куда-то, суежилась и вернулась радостная: купила подмосковную. Усадьба была в Звенигородском уезде, с тополями, садом, церковью, всё как у людей. Звалась она чужим именем: Захарово, да не в имени дело. Службы и дом каменные, дорога не пылит, цветник, роща, а деревня под горой, и богатая, много девок и овсы. Милости просим на лето с детьми; а сама она, живучи в Москве, голову потеряла от пыли, вони, шуму. Аришку оставляет при барчуках, а с нее хватит.

Никто ее и не удерживал.

Осенью пришла долгожданная весть: Осип Абрамович скончался и оставил Надежде Осиповне село Михайловское.

## Глава пятая

### 1

В последние годы старый арап безобразно растолстел. Походка стала еще легче: он ходил как бы приплясывая, неся тяжесть своего живота. Последние месяцы, однако, ходить уж не мог и сидел у окна в больших мягких креслах, обитых полосатым тиком<sup>106</sup>, откинув назад голову и задыхаясь от жира, старости и болезней. Здесь он и спал. С братом Петром Абрамовичем он был в ссоре из-за денежных счетов, и все его покинули.

Барская барыня Палашка правила домом; говорили, что от времени до времени она еще сгоняла к барину девок плясать и петь песни. Но теперь он становился все тише, все равнодушнее и часами следил за полетом мухи и скрипом телеги за лесом. В груди его также скрипело.

Стояла осень, красные, в окне, клены и желтые восковые березы осыпались перед самым окном. Дожди уже прошли, и было сухо.

В одну ночь его скрутило. Он мычал таким страшным голосом и его так подбрасывало, что Палашка к утру послала в город за лекарем.

Лекарь, осмотрев больного, запретил ему есть зайца, так как заяц возбуждает похоть, и приказал пить по вечерам декохт<sup>107</sup>.

---

<sup>104</sup> Четверть – здесь: мера площади земли в старой русской системе мер, равная 0,5 га.

<sup>105</sup> Отставка (нем.).

<sup>106</sup> Тик – плотная хлопчатобумажная ткань.

<sup>107</sup> Декохт – отвар из лекарственных трав.

– Истребите из сердца все досады, – сказал он ему.

Старик лежал в креслах, лицо его было тусклое, он смотрел бессмысленно; глаза как в дыму. И вдруг, помимо его воли, самостоятельно, отдельно от него, начиналось в груди хрипение, бульканье, свист, и живот начинал ходить ходенем. Он дышал сипом и криком, как кричат ржавые затворы, когда их проверяют.

Отдышавшись, он спросил лекаря:

– Сколько мне времени жить?

Лекарь ответил:

– Вам, ваше высокоблагородие, жить два дни.

Старый арап легким движением вдруг подскочил в креслах. Скрип прекратился.

– Врешь, – сказал он лекарю и показал ему кулак.

Потом, оборотясь к Палашке, приказал:

– Гнать его и денег не платить. Вон!

Он полежал с полчаса совершенно неподвижно, трудно дыша. Потом стал глядеть на отцовский портрет. Абрам Петрович был на портрете с желчным лицом, цвета глины, с Аннинскою лентой<sup>108</sup> через плечо, в генерал-аншефском мундире. Он приказал убрать портрет на чердак. Потом велел стопить баню и нести себя туда. В высоких креслах полосатого тика понесла его дворня через весь двор на плечах. На самом пригорке он велел остановиться, осмотрелся и впал в задумчивость. Несли его пять человек: старик был грузен; сзади шла Палашка. В бане он не стал париться, а полежал в предбаннике.

– Попарь-ка меня, – попросил он Палашку.

Палашка хлестала его горячим веником по черным плечам, он храпел и кашлял. Становилось темно.

Он велел нести себя на конюшню. В конюшне было прохладно, покойно. Три жеребца стояли в глухих загородках и, тяжело посапывая, перебирали ногами. Самый горячий, который закусал конюха, был на цепи, как злодей. Кобыла пила воду, мерно храпя. Он покормил ее с руки овсом, который она шумно, со вздохом, убрала мягкими губами.

– В два дня! – сказал он ей о лекаре. – Дурак!

Вернувшись домой, он приказал принести все шандалы<sup>109</sup>, какие есть в доме, и зажечь все свечи. Потом велел набрать листвы в роще и нанести в горницу.

– Для глаза, и дышать легче.

Палашка поднесла ему вина, но он пить не стал и только пригубил. Вспомнив о вине, сказал принести все, что еще оставалось в погребе, в гостиную.

– Девоч, – приказал он Палашке.

Господский дом ярко светился и далеко был виден.

– Опять загулял, – говорили в деревне.

– Смерти на него, дьявола, нет.

Все аннибаловские старухи и старики считали старого Абрама Петровича и самого Осипа Абрамыча с братцем Петром Абрамычем дьяволами. Одна старуха говорила, что у старого Абрама Петровича были еще когти копытцами.

Дворовые девки были у Осипа Абрамыча блудным балетом; они плясали перед ним во времена его загула. Музыканты были у него свои: один лакей играл на гитаре, двое пели, а казачок бил в бубны. Он заставил Палашку всем поднести по стакану вина и махнул музыкантам. Музыканты разом ударили его любимую.

– Машка, выходи, – захрипел он.

Маша была его первая плясунья.

---

<sup>108</sup> *Аннинская лента* – один из знаков ордена Святой Анны 1-й степени; ее носили через плечо.

<sup>109</sup> *Шандаль* – декоративная подставка с разветвлениями для нескольких свечей или ламп.

Арап сидел с полужакрытыми глазами.

– Безо всего, – сказал он.

Плясала Маша безо всего. Он хотел было подняться, но не мог; только пальцы шли у него и дрожали, как подрагивала бедрами Маша, да двигались губы. Музыканты всё громче и быстрее играли его любимую, казачок бил в бубны без перерыва, Маша все дробнее ставила ноги.

– Эх, лебедь белая, – сказал старик.

Он взмахнул рукою, загреб воздух полной горстью, крепко сжал пальцы и заплакал. Рука его упала, голова свесилась. Слезы текли у него прямо на нижнюю толстую губу, и он медленно глотал их.

Когда пляска кончилась, он велел раздать дворне все вино. Потом подумал и приказал половину оставить.

– Овса сюда, бадью, – приказал он.

Вином наполнили при нем бадью, овес намочили в вине.

– Лошадям корм задавать! Окна открывай!

Лошадей кормили на конюшне пьяным овсом.

– Злодея на волю! Коней отпускаю!

Ветер ходил по комнате. Он сидел у раскрытого окна и ловил ртом ночной холод. На дворе было темно. Со звонким ржанием, мотая головами, выбивая копытами комья земли, пронеслись мимо окон пьяные кони.

Он засмеялся без голоса в ответ им:

– Все наше, все Аннибалово! Отцовское, Петрово – прощай.

## 2

Когда Петру Абрамовичу сказали, что братец Осип Абрамович без голоса и плох, он не пошел к нему. Вчера он видел ярко освещенные окна в Михайловском, знал, что брат гуляет, и сердился на него, что более не приглашает его на сельские пирушки. Порешив, что Осип Абрамович плох с похмелья, сказал, что не пойдет и что так обойдется. Он был не в брата, сухонький и верткий. Он обид не забывал.

Палашка, не растерявшись, сразу после лекаря, по старой памяти, отправила гонца к Устинье Ермолаевне Толстой под Псков, где она жила летом и осенью на даче.

Черною тушею лежал без памяти Осип Абрамович весь день и всю ночь, и только по свисту и хрипу Палашка понимала, что он жив. А на следующий день, против всяких ожиданий, прискакала Толстиха, Устинья Ермолаевна.

Она была уже стара, подсохла, но походка еще была та же, что двадцать лет назад. Даже ее враги не могли не признать, что у Устиньи походка хороша.

Легко сойдя со своего экипажа, она прошла в комнаты и попятилась: в комнате был содом. Кленовые листья ворохом лежали на полу, залитом вином.

– Мусор вымети, – сказала она строго Палашке. – Что затхоли развели! Что грязи нанесли!

Только когда комнату прибрали, она присела на стул у окна. Она посмотрела на умирающего осторожно и боязливо. На лиловом лбу были толстые капли и струйки пота; она отерла ему лоб платочком и нахмурилась.

С тех пор как их развел архиерей, больше двадцати лет жила Устинья Ермолаевна ни вдовою, ни мужней женою. Все старания приложила она к тому, чтобы у нее «всего было». Деньги Осипа Абрамыча она с самого начала их любви перевела на себя. Он построил ей во Пскове, по Великолуцкой дороге, покойный дом с яблонным садом, купил ей подо Псковом, у Чертова ручья, дачу, тоже с садом, оранжереями, цветником; подарил ей экипаж и лошадей.

Больше всего она любила золото, яблоки и сливы. У ней был золотой сервиз, а яблоки у нее были белые, как кипень. «У них небось таких нет. Бездельцы! Какая глупость так распускать о людях», – говорила она о своих врагах – псковских помещиках и их женах, которые ее не принимали.

Она почитала себя невинно оклеветанною. Если бы она вышла замуж за влюбленного арапа, это было бы полным торжеством ее над псковской знатью – всеми «татаровьями» – Карамышевыми да Назимовыми, которые ее чурались, боясь ее дурного характера. Но дело кончилось ничем, и ее связь с арапом стала скандалом, как связь с каким-нибудь заезжим паясом или камердинером. Поэтому, как потерпевшая, она считала себя вправе брать с него деньги и грабить, сколько возможно.

Много раз Устинья съезжалась и разъезжалась с арапом. Последний раз они съехались пять лет назад и через месяц разъехались: Устинья вдруг заскучала по саду, а старик ей показался скучен.

Когда ей сказали, что арап кончается, она тотчас же, не думая, собралась. Были между ними еще не конченные счеты: годы тлела у нее в секретере дарственная на село Михайловское, составленная по всем правилам ее стряпчим; оставалось только внизу написать год, число и подписаться. Но в этом арап был тверд и, когда заходила речь о Михайловском, становился молчалив. Устинья Ермолаевна прихватила с собою бумагу.

С последнего разъезда осталась у него также ее шаль, которую арап ни за что не хотел отдавать, говоря, что это – память.

Палашка подала ей к завтраку печеную картошку со сливками, стакан брусничной воды, ничего больше в доме не было.

Она ела и поглядывала. Кругом была такая пустота, некрашенные полы были так бедны, потолки низки, что она сама удивилась, как из этой бедной хижины явилось ее богатство: и сад, и сервизы, и лошади. Арап умирал в дикой простоте, как, может быть, умирал его дед где-нибудь в Африке. Она сказала Палашке про шаль.

Палашка лазила по всем шкапам – шали не было. Глядя на беспорядок, в котором умирал арап, Устинья сказала Палашке брезгливо:

– Где тут шаль найдешь? Тут себя потеряешь.

Она поела, а брусничной воды не тронула:

– Горько. Разве так бруснику мочат?

Она посидела у кресел, на которых плашмя теперь лежал старый арап.

– За мной зачем посылали? Я-то здесь кто? Добро бы родная была.

– Всё не чужие, – сказала Палашка.

Она усала Палашку.

Недовольно она посмотрела на полупустую комнату, которую десять лет опустошала. На комодке когда-то стояли часы с Кроносом<sup>110</sup>, который жрет младенца, – теперь часы у нее; на бюро была статуэтка фарфоровая, фавн<sup>111</sup> с нимфой<sup>112</sup>, – у нее; и только большие лосиные рога висели над столом, охотничье мужское украшение.

Приоткрыв толстые губы, арап отмахивался пальцами от чего-то и лепетал. Глаза у него были полуоткрыты.

– Ну что? Что хочешь? – строго спросила она умирающего и отвела пальцы.

На ногтях была синюха; впрочем, у него всегда были синие ногти. Пальцы были длинные, на левой руке, как у вдовца, перстень с прекрасным камнем. Грань была старой работы, беседкой, камень был желтой воды, она понимала толк в камнях. Шали Палашка так и не отыскала,

<sup>110</sup> *Кроно́с* – один из титанов, сын Урана и Геи, низвергнувший своего отца (*гр. миф.*).

<sup>111</sup> *Фавн* – древнеримский бог лесов и животного мира.

<sup>112</sup> *Нимфа* – божество в виде женщины, олицетворяющее различные силы природы.

шаль была турецкая, с бахромой. Ей было жаль шали. Она посмотрела еще раз на перстень и залюбовалась. Потом, взяв его за руку, она стала тихо снимать перстень с пальца. Палец у арапа разбух, и перстень шел туго. Наконец она сняла его и примерила на большой палец. И вдруг онемела: арап спокойно смотрел на нее и на перстень большими мутными глазами. Он очнулся. Потом как будто тень прошла по лицу – он словно улыбнулся и взял ее за руку.

– Дура, – сказал умирающий внятным голосом, – дура, в губы целуй.

Более в себя он не приходил.

К вечеру появился Петр Абрамыч, сразу после того Устинья Ермолаевна уехала к себе во Псков и снова положила в ларец неподписанную дарственную, а в ночь Осип Абрамыч Аннибал, флота артиллерии капитан в отставке, скончался.

Петр Абрамыч, надев парадный мундир, хоронил брата.

Арап лежал в гробу в морском мундире времени Екатерины, черный как уголь, и попросил сказать крестьянам проповедь о святом Моисее Мурине, который также был эфиоплянин, а смолоду и разбойник. А на завтра прибыл заседатель из города и, помянув покойника вином и пирогами, послал Надежде Осиповне, так же как и Марье Алексеевне, извещение, чтобы приезжали вступать во владение селом Михайловским, понеже отец и супруг их Иосиф Абрамович внезапно волею Божией помре.

### 3

По получении известия о смерти тестя Сергей Львович принял вид серьезный, степенный и принимал знаки сочувствия, как принимают поздравления.

– *Que la volonté du ciel soit faite!*<sup>113</sup> – говорил он с достоинством.

На панихиде он мелко и часто крестился и дважды глубоко и внятно вздохнул. Сестрица Анна Львовна, обняв Надежду Осиповну, всхлипнула было, но это принято было самым холодным образом.

Усадьба и имущество покойного арапа, а если таковые окажутся, и деньги принадлежали теперь жене и дочери. Марья Алексеевна, у которой была теперь своя усадьба, не захотела ехать на старое пепелище, откуда бежал от нее некогда муж, и предоставила распоряжаться Надежде Осиповне. Нужно было войти во владение, а для этого нужна была мужская помощь. Сергей Львович, однако же, не изъявил желания поехать принимать тестевы владения, ссылаясь на военное время и нежелание начальника отпускать его. Отпуск мог повредить его карьере.

Надежда Осиповна, самовольно распоряжавшаяся в стенах своего дома, вне его была на редкость бестолкова и даже пуглива. В конце месяца она выехала в село Михайловское, а Сергей Львович остался дома, пообещавшись, как только обстоятельства дозволят, выехать вслед за нею.

Только когда закрылась дверь, Сергей Львович почувствовал счастье: получив наследство, он внезапно оказался на свободе самое малое на месяц. В тот же вечер он исчез со двора.

Время было военное, и везде были перевороты. Вся Москва была в каком-то волнении, и все было неверно. По реляциям<sup>114</sup>, государь бил французов, а вестовщики говорили, что, напротив, «французы утюжат нас». В комиссариатском штате все ходили как ошалелые; много ездили, пили, играли в карты. Воодушевление было общее, к дому главнокомандующего ездили узнавать новые рескрипты<sup>115</sup>, и мнение о Бонапарте как о безумце было вдруг всеми принято. Василий Львович перестал заказывать своему Блэзу французские блюда. Вообще чувствовалось общее потрясение.

<sup>113</sup> Да свершится воля Неба! (*фр.*)

<sup>114</sup> *Реляция* – донесение о военных действиях.

<sup>115</sup> *Рескрипт* – особая форма письма монарха к должностному лицу, подданному с поручением, выражением благодарности и т. п.

Бледный и нахмуренный сидел Сергей Львович за зеленым столом в два часа ночи и спускал в рокамболь<sup>116</sup> вторую сотню. Руки его дрожали, и будущность представлялась потерянной.

В том, что все откроется и Надежда Осиповна узнает, Сергей Львович не сомневался, но не хотел думать об этом. Вначале он просто сговорился провести время со старыми приятелями, затем затеялся рокамболь, и вот с самого начала он, как нарочно, проигрался, дрожа от нетерпения, в пух. Несчастные талии<sup>117</sup> следовали одна за другой.

В четыре часа он был в проигрыше и писал заемные письма: «Обязуюсь уплатить (сто – двести – пятьсот) рублей. Число. Месяц. Год. *Сергей Пушкин*». Малодушие его было таково, что он готов был плакать. В пять часов он вернул всё и даже остался в выигрыше. Силы покинули его. В совершенной слабости он пил воду. Вся прошлая жизнь, жизнь отца семейства и покорного мужа, исчезла в одно мгновение. Вся прошлая жизнь была проигрыш, а теперешняя – выигрыш. В течение часа душевные силы его заметно восстановились. Он решил, что не будет более играть, а в случае если проиграется, будет проситься на поля сражений. Надежда Осиповна для военного была не так страшна.

Наслаждаясь новою свободою, он позволил приятелям, после короткой заминки, отвезти себя поутру согреться в известный дом на окраине – к Панкратьевне. Панкратьевна, толстая старуха, держала за Москвой-рекой дом с толстыми девками, жирными щами и славилась своею первобытной простотой.

– Масло! – говорили о ее питомицах московские знатоки и жмурили глаз.

Сергей Львович произвел на Панкратьевну самое отрадное впечатление своею вежливостью и ел славные щи с истинным аппетитом. Пробыв у нее в гостях до полудня, Сергей Львович нашел себя. Открылось, что он создан для приятной жизни, а не для каких-либо дел или семьи. От выигрыша даже осталось несколько; деньги он пересчитал и отложил на счастье в кошелёк, решив не тратить. С необыкновенным спокойствием и важностью он вернулся к себе домой. Об обещании приехать, данном Надежде Осиповне, он старался не думать: самое сильное отвращение было у него к разного рода описям, вводам во владение и проч. С детьми возилась теперь Арина, и с этой стороны ничто не беспокоило его.

Грушка у Панкратьевны пришлась ему по нраву. По утрам он ездил с визитами, и ему бывали рады; если кто не принимал на Поварской, он тотчас сворачивал на Тверскую; обедал там, где вся Москва обедала, – у старух и стариков, а вечером тянуло его к Панкратьевне. Являлись юные негодяи и увозили его. Теперь ему никто не мешал.

#### 4

Мать была где-то далеко, в поместье черного деда, о котором родители не говорили, но многое смутно напоминало. Он привык к любопытству мальчишек и прохожих. Лицо его было смуглое, волосы светлые и вились.

Ему говорили, что дед умер; теперь он умер вторично. Судьба этого темного деда чрезвычайно его занимала. Теперь у них было поместье, о котором отец сказал, что там прекрасное озеро. Мать была угрюма; она уехала, расцеловав маленьких в щеки, а его – в голову. И теперь он был на свободе.

По утрам он иногда видел виноватую фигуру отца; отец возвращался откуда-то и семенил к себе в кабинет. Он прекрасно знал его походку – так отец являлся домой, когда боялся матери. К вечеру отец исчезал. Случалось, что кабинет пустовал и день и два. В кабинете он научился распоряжаться, как в захваченном вражеском лагере. Он перечел много книг, лежав-

<sup>116</sup> *Рокамболь* – старинная карточная игра.

<sup>117</sup> *Талии* – круг карточной игры.

ших в беспорядке на окнах. Это были анекдоты, быстрые и отрывистые. Он узнал об изменах, об острых ответах королей, о римских полководцах, о славных женщинах, которые умели прятать любовников; перелистал словарь римских куртизанок; более всех ему понравилась ловкая Лаиса, подруга жирного Аристиппа; прочел о людях, которые, умирая на плахе, делали острые замечания.

Он читал отрывисто и быстро, без разбора. Его очень занял портрет Вольтера<sup>118</sup>: полуобезьянья голова старика с длинными, вытянутыми вперед губами, в ночном белом колпаке. Это был мудрец, поэт и шалун; он смеялся над королем Фредериком и всю жизнь хитрил. Очень ему понравился также рассказ в стихах о том, как две благочестивые старушки, вернувшись домой и улегшись на постель, нашли там дюжего молодца и подрались друг с другом. Благочестивые старушки, ханжи, девотки, напоминали тетушку Анну Львовну, а мать с гостями жеманничала, как мадам Дезульер<sup>119</sup>.

Стихи нравились ему более, чем все другое, в них рифма была как бы доказательством истинности происшествия. Он читал быстро, выбирая глазами концы стихов и кусая в совершенном самозабвении кончики смуглых пальцев. При каком-нибудь шуме он ловко ставил книжку на место и, вытянув шею, приготовлялся к неожиданности. Вообще осенью этого года он вдруг переменялся. Исчезла медленная походка увальня; медленный и как бы всегда вопрошающий взгляд стал быстрым и живым. Ему было семь лет.

---

<sup>118</sup> *Вольтёр* Франсуа Мари́ Аруэ́ (1694–1778) – великий французский писатель XVIII в., философ, энциклопедист. Его последователей или поклонников в XVIII – начале XIX в. называли вольтерьянцами.

<sup>119</sup> *Дезульёр* Антуанетта (ок. 1634–1694) – французская поэтесса.



Наконец он добрался по лесенке до самой верхней полки в кабинете. Там стояли маленькие книжки в кожаных переплетах. Он стал читать их, и новый мир перед ним открылся. У

каждой женщины были милые тайны; все разнообразно обманывали друг друга; подруги притворно гнали пастушков; вельможи давали забавные ответы; фавны гонялись за нимфами с какой-то сладкой и неясной целью; наездники до изнеможения объезжали горячих кобылиц; охотники убивали таинственную дичь наповал; садовник сажал розан в корзинку Аннеты; шел насмешливый счет ночным победам – одна, и две, и три победы были смешны – их должно было быть без счета. Все между тем изнемогало от томления – всюду шел бой, а о женщине говорили как о незнакомой стране, которую предстояло открыть, с холмами, лесами, горами, гротами, прохладной тенью. Дыхание у него захватило. Он подозревал чудеса.

Теперь, когда мать уехала, движения его стали вдруг свободны и быстры.

Ему ничего не стоило без усилия и разбега вспрыгнуть на стол, перескочить через кресло не опрокидывая. Ему не сиделось на одном месте, неожиданно для самого себя он вскакивал и ронял книгу, менял место. Он играл в мяч на дворе с мальчишками и верно находил цель взглядом и мышцами всего тела.

Почти весь день проводил он в девичьей. Арина вначале на него ворчала, но вскоре перестала. Девушки привыкли к нему, здоровались с ним нараспев, смеялись при нем и фыркали, говоря о Никите и поваре Николашке. Они пели долгие, протяжные песни, и лица их становились серьезными. Заметив, что песни ему полюбились, они всякий раз, когда он приходил, пели ему. Так они спели песню про белы снега, про березу, про синицу.

Раз, когда Арины не было, самая быстрая из них, Татьяна, на бегу вдруг обняла его и стала тормошить. Девки завизжали, засмеялись, но, когда вошла Арина, сразу замолчали. Татьянка покраснелась, Арина сурово ей сказала:

– Ужо тебе, Танька! Барыне скажу!

Как-то ему не спалось, и он попросил Арину, чтоб Татьяна спела ему. Арина была обижена, что Танькины песни ему больше нравятся, чем ее сказки, но с сердцем, ворча, привела сонную Татьяну, босую и простоволосую. Таня запела над ним протяжно, без слов, и, глядя, как она, полусонная, с открытой грудью, дышит и позевывает, он закрыл глаза и уснул.

Жизнь его стала вдруг полна.

Баловень Лёвушка хныкал без матери; Олинька, во всем похожая на тетку Анну Львовну, по несколько раз в день заглядывала в комнаты отца – здесь ли. Востроносый Николинька льнул к Арине, зарываясь носом в ее подол.

А он наслаждался свободой.

Теперь перед сном, лежа в постели, он долго, тихо смеялся, зарываясь в подушки. Арина с огорчением на него смотрела; она думала, что он опять напроказил. Проказы его теперь сходили с рук; незаметно был отбит край хрустального графина; он мячом попал в портрет дедушки Льва Александровича в гостиной, так что холст подался и краска посыпалась. Арина обмерла, но обошлось. Сергей Львович редко смотрел на отцовский портрет и ничего не заметил.

– Дед ажно моргнул на стенке! Вот горе! – говорила Арина.

Она крестила его и сердилась. Сказок она ему на ночь теперь не говорила: от сказок он еще пуще не спал. Сказки она говорила только под вечер. Он никогда ее не прерывал, ни о чем не расспрашивал. Когда Лёвушка раз помешал им, он побил его.

А перед сном он смеялся от счастья.

## 5

Неподалеку жили Трубецкие-Комод. Так их звали по архитектуре дома. Действительно, грузный квадратный дом Трубецких, стоявший посреди пустого двора, несколько напоминал комод. Москва всех людей метила по-своему. Дом был комод, и Трубецкие стали Трубецкие-Комод, а старика Трубецкого звали уже просто Комод. Этой кличкой он отличался от дру-

гого Трубецкого, которого звали Тарар, по его любимой опере, и третьего, которого звали Василисой Петровной. Трубецкие-Комод жили в своем доме-комоде тремя поколениями; старик, крепконосый, сухой, был уже очень дряхл и глух; всем в доме распоряжалась дочь, сорокалетняя девица Аня. Александр часто встречал на прогулках Николинку Трубецкого, гулявшего с гувернанткой. Они познакомились, тетка прислала Сергею Львовичу любезное письмо, и Александр стал бывать у Трубецких.

Николинька Трубецкой был мал ростом, ленив и толст, желт, как лимон. Старый дед доживал свой век и крепко зяб, поэтому зимою непрерывно топили, а летом не открывали окон. Слуги ходили по дому как сонные мухи. У Трубецких-Комод было тихо, душно и скучно. Казалось, и молодые вместе со стариком доживают свой век. Николинька не играл в мяч и не бегал взапуски, он был сластена, лакомка, и нежная тетка его закармливала.

Старик сидел у камина; осень еще только наступила, а он уж зяб. Несмотря на глухоту и дряхлость, дед был разговорчив и во всем требовал отчета у дочери. Увидев как-то Александра, он громко спросил у дочери:

– Кто?

Услышав имя – Пушкин, старик так же громко стал спрашивать:

– Мусин? Бобрищев? Брюс?

Дочь ответила глухому с некоторой досадой:

– Нет, *mon père*<sup>120</sup>, просто Пушкин.

Старик подумал. Потом все тем же глухим, надтреснутым басом он спросил:

– *Бывшего* Пушкина сын?

Дочь вздохнула и сказала, что это сын Сергея Львовича, соседа.

Тогда старик подумал и наконец вспомнил:

– Ах, это стихотворца!

Голос старца был такой, как бывает у человека, припомнившего что-то забавное. Видимо, Сергея Львовича он не помнил, а помнил что-то о Василье Львовиче.

Когда нежная тетка через несколько минут зашла в детскую посмотреть, как дети резвятся, Александр сидел верхом на Николинке, довольно верно изображая скачущего во весь опор всадника, а Николинька, на четвереньках, терпеливо изображал смиренного коня. Тетке игра не понравилась.

Вечером Александр спросил у отца, кто такие *бывшие* Пушкины. Сергей Львович обомлел и грозно спросил сына, кто сказал ему о *бывших* Пушкиных. Он отдерет всех этих Николашек, Грушек и Татьянок, которые осмеливаются пороть всякую дичь. Никаких *бывших* Пушкиных нет, не было и не будет, и он запрещает говорить о каких бы то ни было *бывших* Пушкиных. Узнав, что это говорил старик Трубецкой, Сергей Львович сказал сквозь зубы, снисходительно:

– Ах, это бедный Комод! Он, бедняжка, так стар, – и прикоснулся пальцем ко лбу.

Потом он так же снисходительно, сквозь зубы, спросил сына, как ему нравится его новый товарищ.

Александр фыркнул и ответил:

– *C'est un fainéant*<sup>121</sup>, лежебок.

В голосе было такое презрение, что Сергей Львович удивился. Он не без удовольствия посмотрел на сына.

<sup>120</sup> Папенька (*фр.*).

<sup>121</sup> Он бездельник (*фр.*).

## 6

Надежда Осиповна вступила в свои владения. Низко кланялась дворня, все в новых платьях, опустив глаза.

Никогда не была она помещицей. Всю свою молодость она провела с матерью в столице, в Преображенском полку, в небольшом домике, изредка выезжая на какой-нибудь гвардейский бал. Жила в тайной горькой бедности. Каждый выезд ее стоил обеим, и дочери и матери, мук и горя. Она не помнила Суйды, где провела свое младенчество, и сельская жизнь была ей неизвестна. Поэтому она с боязнью вступила в дом чуждого ей отца. Крытый соломой, серый, он пугал ее. На людей она смотрела строго и угрюмо. Гарем старого арапа от нее попрятался.

Дом казался ей похожим на сарай: не только не видно было нигде и следов роскоши, но самые комнаты были пусты. Надежда Осиповна удивилась: с детства она привыкла считать отца богатым. Следы разрушения были насколько возможно изглажены Палашкой. В комнате, где умирал отец, стояли у кресел в зловещем порядке нетронутая бутылка с лекарством, недопитая фляга вина, тарелка; лежали сбитые в кучку: трубка, картуз<sup>122</sup> табаку, шелковый шейный платок, какие носили сорок лет назад, и полуистлевшие обрывки бумаги, исписанные ржавыми бледными чернилами; а рядом – большой засохший цветок, покрытый пылью и перетянутый шелковой ленточкой. Палашка, усердствуя, выложила всю заваль из кроватного столика. Цветок пах горьким старым сеном.

Надежда Осиповна прочла бумаги отца. Это были какие-то случайные счета и письма.

«За серебро чайное, за перстень с алмазом да еще перстень с кошачьим глазом всего остается получить триста семьдесят рублей».

«Милостивый государь мой Иосиф Абрамович!

Как в прошлый авторник решения достать не мог и секлетарь велел приттить в четверток, то сомневаюсь, что есть решение, и посему покорно прошу пожаловать Вашу милость на ведение дел, что прохарчился и что секлетарю ранее выдано, все как Вы приказывали полностью. А о формальном разводе ничего не говорит и определения не дает».

«Дружок мой, чёрт бесценный, я всю ночь нынче без тебя заснуть не могла, все кости тлеют, руки мрут, и вся, почитай, истлела...»

«Но уж такой поступок в Вас обличает последнего человека. Я, сударь, очень поняла и знаю, какой ты изверг, подлец, и самый малодушный ребенок так сделать не мог...»

Все, что лежало на столике, она бросила в печь; цветок затрещал и рассыпался. Она тотчас же позвала Палашку и распорядилась изменить порядок комнат: отцовский кабинет сделала гостиною, а в гостиной – свою спальную. Девки набили новый сенник, принесли новые кбзлы: спать на отцовской кровати она не захотела. Выволокли шкап из комнаты, но следы от тяжелых ножек, вросших в пол, остались и тревожили ее, как след давно минувшего времени.

Наутро, едва она раскрыла глаза, забрякали под окном колокольцы: прибыл земский заседатель<sup>123</sup> с подьячим<sup>124</sup>. Весь день они шатались по усадьбе, мерили длинным аршином баню и какие-то кусты, и Надежда Осиповна с тревогою смотрела на все это из окна. Подьячий соста-

<sup>122</sup> *Картуз* – здесь: бумажный пакет для различных сыпучих веществ.

<sup>123</sup> *Земский заседатель* – член земского суда – уездного судебно-административного органа России 1775–1862 гг.

<sup>124</sup> *Подьячий* – канцелярский служащий в государственных учреждениях России XVI–XIX вв.

вил опись движимым и недвижимым вещам морской артиллерии капитана Иосифа Аннибала. Явился откуда-то благородный свидетель и нетвердою рукою подписался под актом. Он был крив и пришел с большим псом, которого привязал к крыльцу. Надежде Осиповне он отрекомендовался прапорщиком в отставке Затеplenским, живущим по соседству и готовым к услугам. Потом сели, как водится, за стол, и Палашка поднесла им водки. Заседатель к концу вечера ослабел и свалился под стол. Благородный свидетель кинул ему воду в лицо и велел Палашке с девками свести его в баньку до вытрезвления. Назавтра утром заседатель с подьячим укатили, а благородный свидетель, отвязав пса, откланялся Надежде Осиповне, приложился к ручке и ушел.

– Насосались, пиявицы, – сказала им вслед Палашка, чуть ли не повторяя речь покойного Осипа Абрамовича.

Она не без основания обвиняла заседателя в пьянстве. Он был постоянным дегустатором наливок и настоек Петра Абрамыча.

И Надежда Осиповна в ожидании Сергея Львовича стала жить помещицей. Это оказалось нетрудно. Как в городе, девка приносила ей в постель чай, спала она далеко за полдень, потом обсуждала с Палашкою обед, потом гуляла, в надежде встретить невзначай кого-нибудь из соседей, а там обедала, а там критиковала обед, а потом отдыхала. Дяденька Петр Абрамыч, живший тут же, в Петровском, помня ссору, к ней не пожаловал, а она – к нему.

Вскоре она познакомилась с соседями: явились ее звать к обеду к Рокотовым и Вындомским. Рокотовы жили в пяти верстах, оказались скрягами, жена – надутая барыней, говорившей по-русски, как по-французски, в нос; муж писклив и мизерен до крайности; обед плох. Старик Вындомский, вдовец, жил рядом, в селе Тригорском. У него гостила молоденькая дочка, бывшая замужем за тверским помещиком Вульфom. Прасковья Александровна Вульф<sup>125</sup> поразила Надежду Осиповну каким-то мужским удалством, которое вовсе не было в моде в столицах, – с утра гоняла на корде лошадей, скакала верхом, ездила на полевые работы, не обращая внимания на шестилетнюю Аннету и годовалого Алексея. Она была крепкая, говорливая, с кудерьками на висках. Вечером садилась у камина и читала Саллюстия<sup>126</sup> по-французски. Над Саллюстием она, усталая, и засыпала. Старик с дочкой доводились сродни Надежде Осиповне: двоюродный брат ее по отцу, Яков Иванович, мичман, был женат на второй сестре Вындомской. Надежда Осиповна, впрочем, не знала ни своего кузена, ни жены его.

По вечерам в Михайловском было скучно и страшно. Комнаты были пусты; везде еще держался слабый, застарелый запах табака, вина, старого человека – отца, которого она не знала и боялась и с которым теперь было раз и навсегда покончено. По ночам она просыпалась, дождик барабанил в окно; кто-то шуршал по соломенной кровле, словно оступался, – потом раздавался неожиданно птичий крик и грей, звук сильного быстрого ветра, точно над ней раздували мехи. Она зажигала свечу. Окна слезились; рассветало; поздние птицы улетали. Она вздрагивала от их близости.

В Тригорском же было весело и светло. В крепком, шитом тесом доме Вындомских, над самой Соротью, копошились дети, трещали свечи и сверчки. Прасковья Александровна лихо брэнчала на клавесине, не совсем еще разбитом, и пела самые заунывные романсы; дети плясали и проказничали. И Надежду Осиповну оставляли на ночлег. Здесь ничто не напоминало михайловского бездомовья, и даже птицы, пролетающие над домом, были, казалось, другие.

У Прасковьи Александровны был прямой взгляд и резкий голос; она была справедлива в своих суждениях. Она завязала с Надеждой Осиповной откровенный разговор. Не стесняясь, она сразу же без обиняков сказала, что Толстиха обобрала старика, как малинку, но затевать

<sup>125</sup> Вульф (Осипова) Прасковья Александровна (1781–1859) – владелица усадьбы Тригорское, друг А. С. Пушкина.

<sup>126</sup> Саллюстий Гай Крисп (86–35 до н. э.) – древнеримский историк.

скандальную тяжбу со старою сквалыгою отсоветовала, считая дело безнадежным. О Палашке она тоже отозвалась неодобрительно – воровка и сводня.

Вскоре Прасковья Александровна узнала все новые моды, и ее простодушное изумление льстило Надежде Осиповне. Она же помогла Надежде Осиповне до приезда Сергея Львовича управиться со всеми делами по имению.

Надежда Осиповна ездила с нею во Псков, и приказный, получив на водку, закрепил за дочерью и женой Аннибаловой родовое Михайловское, Устье тож, с деревнями Косохновой, Репшино, Вашково, Морозово, Локтево, Вороново, Лунцово, Лежнёво, Цыблёво, Гречнёво, Махнино, Брюхово и Прошугово, всего семьсот десятин и более, с пахотой, покосами, лесом и озером, мызами<sup>127</sup>, деревнями, ручьями и огородами, а также душами до ста восьмидесяти мужеска пола и до ста – женского. В этом приказный выдал ей форменную крепость<sup>128</sup> с большой красной печатью, за приложение которой потребовал дополнительно на водку.

Когда, довольная количеством своих и матери деревень, Надежда Осиповна по возвращении пошла их смотреть, она нашла четыре почернелые деревеньки в пять-шесть изб с высокими косыми крылечками на сваях, голые и горькие. Старики в серых сермягах встречали ее у дороги, кланялись в пояс и жаловались на бедность. Старуха вынесла ей на деревянном блюде черный псковский пирог – какору, чиненный морковью. Надежда Осиповна куснула и пошла далее. Больше деревень не оказалось: видимо, они значились в актах по старой памяти. Пахота была бедна, но ручьи, по описи, действительно лепетали вдоль песчаных откосов. Впрочем, они уже кой-где подмерзли и покрылись тонким льдом.

Испуганная неверностью своих владений, Надежда Осиповна посчитала дворню, но на тринадцатой девке махнула рукой. Никому, даже Прасковье Александровне, она ничего не сказала, побоявшись спросить, куда делись деревни. Она решила, что всему виною Толстиха, и вместе со злобой на разорительницу почувствовала и некоторое удивление перед отцом, все отдавшим своей страсти.

Она побывала вместе с Прасковьей Вульф в Святых Горах. На могиле отца стоял деревянный крест, по которому ползла толстой слезой смола. На кресте Петр Абрамыч сделал надпись карандашом: «Флота капитан 2-го ранга и раб Божий 62 лет, Аннибал». Фамилия была написана, по забывчивости, с росчерком – парафом. Надежда Осиповна постояла с минуту у креста, от которого шел еще сосновый дух. С горы была видна вся окрестность. Она решила положить над отцом черную плиту с более приличною надписью. Сергей Львович все не ехал, в Михайловском было холодно и голо, и Надежда Осиповна заскучала. Все ей стало тошно, лень стало ходить в Тригорское, она не могла привыкнуть ни к дому, ни к своим владениям; ей все чудилось, что она не на своем месте и что усадьбу скоро отнимут – та же злодейка Толстиха, жившая во Пскове. Многих деревень как не бывало. Она негодовала на Сергея Львовича, что не едет и бросил ее, беззащитную, в этой глуши. Она заскучала тяжелой, нездешней, непсковской, заморской, желтой скукой. Сидя по вечерам у себя с полузакрытыми глазами, она кусала ногти и пальцы и равнодушно плакала большими мутными слезами. Дом притих, как курятник, на который налетел большой ястреб, и гарем старика, ожидавший еще своей участи, притаился.

Тут случился храмовой праздник, и предприимчивая Палашка решилась. Все девки разошлись и пришли поздравить барыню. Надежда Осиповна вышла и, скучая, посмотрела на них в лорнет. Девки поклонились и затеяли танцы. Надежда Осиповна велела вынести кресла и уселась. Девка, худая и высокая, вдруг скинулась и пошла дробным шагом, шевеля плечами, за ней вторая, третья. Они плясали вполпляса – плыли – как при старике, когда он бывал трезв и скучен. Дворня, как в старые дни, собралась в кружок и издали глядела; все молчали, потому что при старике не были приучены к разговорам. Надежда Осиповна все смотрела в лорнет.

<sup>127</sup> *Мы́за* – в прибалтийских странах отдельно стоящая усадьба с хозяйством или поместье.

<sup>128</sup> *Форменная крепость* – государственный документ о владении землями и имуществом.

Постепенно она оживилась, ноздри ее стали вздрагивать, а лицо покраснело. Девки, приученные к барским лицам, пошли быстрее. Погода была ясная, сквозная, кругом все тихо. Надежда Осиповна, смотря в лорнет, неподвижно сидя на одном месте, плясала каждым членом – глазами, губами, плечами, ноздри ее вздрагивали. Она выслала девкам пирог. Скука прошла.

Посоветовавшись со стариком Вындомским, она распорядилась. Палашку сослала на птичий двор, гарем упразднила, а управляющим, по совету старика, назначила благородного свидетеля, прапорщика Затеplenского, который был крепок на руку и распорядителен. Он сразу же как из-под земли вырос со своим псом и временно занял под жилье баньку, как наиболее теплое помещение.

Провожала Надежду Осиповну до околицы вся дворня; две девки поднесли было передники к глазам, но быстро успокоились. Уезжала Надежда Осиповна с радостью, почти не веря, что через неделю будет плясать у Бутурлиных.

## 7

Повар Николашка, которого Марья Алексеевна оставила Надежде Осиповне до весны, сбежал.

Он был видным лицом в пушкинской дворне. Разговаривал неохотно и мало, был молчалив и чисто брит. На него не кричали; раз Марья Алексеевна хотела дать ему пощечину – гусь сгорел, – он повел на нее бесцветными и пустыми, как стеклянные бусы, глазами, и она не осмелилась. Девки его уважали и звали за глаза Николаем Петровичем.

В противоположность Никите, который пил понемногу, но часто, так что всегда бывал весел, Николай Петрович не касался вина.

Незадолго до приезда Надежды Осиповны Сергей Львович подсчитал свой проигрыш и решил обелиться перед супругой. Он не сомневался, что проигрыш откроется. Так он стал искать вора. Вскоре вор был найден: у Николашки ушло непомерно много денег; ссылаясь на то, что собственное масло прогоркло, а говядина и дичь с душком, он покупал в лавочке и т. д.

Сергей Львович призвал его и, стараясь привести себя в ярость и брызгаясь, назвал его вором. Николашка смолчал, Сергей Львович быстрее обыкновенного ушел со двора.

Вечером Александр, проходя в девичью, услышал в людской пение. Он приоткрыл дверь. За столом сидел Николай, бледный, в новом сертуке, перед ним стоял пустой штоф. Он пел долгую однотонную песню, без слов. Это был как бы вой, тихий и протяжный. Пустыми, ясными глазами он посмотрел на Александра и ухмыльнулся. Он подмигнул ему и свистнул.

– Вы, Пушкины, – сказал он медленно, – род ваш прогарчивый. Прогоришь! Ужб тебе!

Он стал медленно подниматься. Александр испугался и попятился.

Через два дня Николай ушел и не вернулся. Вся дворня ходила молчаливая. Сергей Львович заявил в полицию и необыкновенно оживился. Он всем рассказывал о грабеже и побеге. Заехавшая вечером тетка Анна Львовна долго крестилась, когда узнала, и перекрестила Сергея Львовича: Николашка всех зарезать мог.

Вечером Александр спросил Арину, куда ушел Николай.

С некоторых пор он взял себе за правило ничего не бояться, но неподвижный, пронзительный Николашкин взгляд и негромкий вой, который был русскою песнею, действовали на него необъяснимо.

Арина развела руками:

– В Польшу. Куда ему идти? Все разбойники в Польшу уходят. Сунул нож в голенище – и ищи ветра в поле! А потом смотришь и объявился – пан, бархатный жупан.

И вскоре приехала Надежда Осиповна.

## 8

Надежда Осиповна с самого начала почуяла недоброе; ее удивило и уязвило, что как будто все без нее прекрасно обходилось. От дома она отвыкла и не узнавала его.

Николашка сбежал из-за Сергея Львовича – это было ясно. По глазам было видно, что Сергей Львович во многом виноват; денег в доме совсем не было. Сергей Львович все валил на мерзавца Николашку – *ce faguin Nicolachka*<sup>129</sup>, плутовок-девок – *ces friponnes de Grouchka et de Tatianka*<sup>130</sup> и на скверного Никишку – *ce coquin de Nikichka*<sup>131</sup>. Вскоре, однако, все открылось: получена шутливая записка от одного из юных негодяев с приглашением прибыть в известное святилище Панкратьевны; записка, по несчастной случайности, попала в руки Надежды Осиповны.

Этот день был страшен; дети попрятались, дворни – как не бывало. Надежда Осиповна сидела за столом сам-друг с Сергеем Львовичем и молча била посуду. В гневе она была страшна, лицо ее становилось неподвижно, не белое, а белёсое, тусклое; глаза гасли, губы грубели и раскрывались. Она бросала наземь тарелку за тарелкой. Когда полетел графин Сергея Львовича и вино полилось по полу, он, дрожа от страха, обиды и гнева, внезапно разъярился, ошетинился и щелкнул со стола рюмку. Это было неожиданностью для Надежды Осиповны.

– Ах, вы бьете посуду? – сказала она, бледная, спокойная и страшная. – Бейте ее *chez votre Pankratievna*<sup>132</sup>. – Глаза ее забегали, красные жилки налились в них.

Сергей Львович медленно встал и закинул голову. Во всей фигуре его было необыкновенное достоинство. Надежда Осиповна, окаменев, смотрела на него.

– *Mon ange*, – произнес он тонким голосом, еле переводя дух, но уже с торжеством, – я еду на войну, на поле сражений.

Надежда Осиповна смешалась. Она посмотрела на битую посуду; поведение супруга озадачило ее. Она боялась и мысли о том, что Сергей Львович станет военным, – тогда ее власти как не бывало, а его к обеду не дождешься. Притом мысль о том, что она останется вдовой с кучей ребятишек, пугала ее; с другой стороны, если Сергей Львович действительно собирался на войну, это отчасти оправдывало его действия у Панкратьевны. Все военные вольно вели себя. Сергей Львович перевел дух. Быстрой походкой он направился в переднюю, громко велел казачку подавать шинель и пошел со двора – может быть, определяться в какой-нибудь полк.

Надежда Осиповна верила и не верила. Она бесилась на мужа, который играет перед нею такую недостойную комедию, и на себя, что довела его до отъезда в действующую армию. Больше же всего на то, что он, провинившись, остался победителем, а она в дурах.

Надежду Осиповну словно ветром понесло в девичью. Девки сидели не дыша. В углу она вдруг заметила Александра и широко открыла глаза. В ее отсутствие и у мужа и у сына завелись новые привычки. Она схватила его за ворот и почти понесла в комнаты.

<sup>129</sup> Этот наглец Николашка (*фр.*).

<sup>130</sup> Эти плутовки Грушка и Татьяна (*фр.*).

<sup>131</sup> Этот мошенник Никишка (*фр.*).

<sup>132</sup> У вашей Панкратьевны (*фр.*).



У порога своей спальни она столкнулась с Ариною. У Арины было бледное лицо, спокойное, и глаза как бы сразу выцвели и ввалились.

Надежда Осиповна толкнула ее плечом, Арина охнула и прислонилась к косяку.

– Тварь! – сказала Надежда Осиповна, не смея взглянуть на нее.

Потом Арина отошла от дверей и пропустила мать с сыном. Когда дверь за ними закрылась, она еще немного постояла.

– Розог! – крикнула Надежда Осиповна.

Арина перекрестилась и пошла. В людской она села на скамью, прямо и сложа руки на коленях. Уже бежал казачок с розгами на барынин зов; она еще больше побелела и взялась рукой за сердце.

Надежда Осиповна била сына долго, пока не устала. Сын молчал. Потом, отдышавшись, она бросилась в подушки и заснула, усталая. Арина долго еще сидела в темной людской. Потом она пошарила в своем сундучке, нашла пузырек, отпила; полегчало немного; она еще выпила; затем до дна. И только тогда, уже пьяная, качаясь из стороны в сторону, заплакала скупыми, мелкими слезами.

## Глава шестая

### 1

Ни осенью, ни зимою Сергей Львович на войну не пошел. Война шла теперь и с французами, и с турками. Старики московские говорили о ней резко. Наполеон побеждал; государь, по известиям, плакал. Главнокомандующий, старец генерал Каменский, в каждом донесении молил его уволить, а вскоре, по слухам, и вправду бежал из армии.

Оды писались и печатались ежедневно; многие из них были посвящены градоначальнику, а под конец всем прискучили. Сергей Львович остыл вместе со всеми.

Между тем в Москве шли маскарады, и на одном из них Сергей Львович и Надежда Осиповна были свидетелями забавной драки, происшедшей между двумя приятелями за прекрасную мадам Кафка; оба вцепились друг другу в волосы. Это было до крайности забавно, но они мало смеялись, потому что были в ссоре.

Зимою был взят к Александру гувернер. Долго выбирали, и наконец Александра взялся воспитывать не кто иной, как сам граф Монфор. Впрочем, это был уже не прежний Монфор: нос его заострился и покраснел, панталоны всегда засалены, убогое жабо трепалось у него на груди; он был по-прежнему любезен, но почти всегда слишком весел и болтлив. По вечерам он играл немного на флейте. Спал он в одной комнате с Александром, и мальчик подружился со своим воспитателем. Шалости Александру француз охотно прощал. Они много гуляли по московским улицам и садам, и воспитатель при этом лепетал, говорил без умолку. Вскоре Александр узнал о скандальных и забавных историях французского Двора начиная с маркиза Данжо<sup>133</sup>.

Вставая поутру, француз пил целебный бальзам, после чего веселел; пил его и вечером, если не играл на флейте; с удовольствием рисовал на клочках бумаги все, что приходило на ум, чаще всего головы и ножки его парижских подруг; профили были похожи один на другой, а ножки были разные.

Однажды он рассказал мальчику о всех славных поединках двух царствований. Поставив его перед собою на расстоянии трех шагов, он учил его обороняться. Шпаг у них не было, но Монфор пришел в такой азарт, что крикнул Александру:

– Вы убиты!

Вообще он часто рассказывал Александру о парижском свете, театре, а раз, выпив бальзаму, свесил голову и заплакал.

---

<sup>133</sup> *Данжо* – Филипп де Курсийон де (1638–1720) – французский военный дипломат, автор знаменитых мемуаров.

## 2

Весною всей семьей поехали к бабушке Марье Алексеевне в Захарово. Михайловское было далеко, все там не устроено, и никто их не ждал.

Это была первая дорога и первая деревня в его жизни. Ямщик на козлах пел одну и ту же песню без конца и начала, стегал лошадей, потом пошли полосатые версты, редкие курные избы<sup>134</sup> и кругом холмы, поля и рощицы, еще голые и мытые последними дождями. Он жадно слушал всю эту незнакомую музыку – песню колес и ямщика – и вдыхал новые запахи: дегтя, дыма, ветра. Черные лохматые псы, заливаясь и скаля зубы, лаяли.

Это была столбовая дорога, которую иногда бранили отец и дядя, – холмистая, грязная, с пустыми сторожевыми будками; помещичьи дома белели на пригорках, как кружево.

Александру в пути никто не докучал наставлениями. Француз под действием дороги или бальзама дремал. Езда полюбилась Александру – он не слезал бы с брички; всех трясло и подбрасывало на ухабах.

Надежда Осиповна молчала всю зиму. Сергей Львович, зная, что не получит ответа, и все же надеясь, сладким голосом быстро ее спрашивал:

– Где, душа моя, книжка Лебренья, помнишь, маленькая, я еще намерен ее читать – не могу найти, Александр не взял ли? – встречал чужой взгляд и полное молчание.

Даже то, что Александр взял эту книгу, не занимало ее. Она умела молчать. Сергей Львович томился и таял, носил ей подарки, принес даже раз фермуар<sup>135</sup> на последние; не то стараясь привлечь внимание другим – говорил за обедом, что дичь протухла, со вздохом отодвигая тарелку, не ел дичи. Дичь была своя, мороженная и действительно протухшая, но Надежда Осиповна молчала. Сергей Львович разговаривал с нею единственно вздохами, и вздохи его были разнообразны: то тихие и глубокие, с пришептыванием, то громкие и быстрые.

В пути они заметно стали друг к другу ласковее. Перед самым Захаровом Надежда Осиповна опять надулась; у Звенигорода Сергей Львович умилился: на балконе сидела барышня и пела весьма тонким голосом:

Коль надежду истребила  
В страстном сердце ты моем...

Лицо у Надежды Осиповны вдруг пошло пятнами, глаза потускнели, грудь сильно дышала. Она, не отрываясь, жадно смотрела в лицо Сергею Львовичу. Он заметил ее взгляд, сжался, отвернулся и сказал беззаботно ямщику:

– Погоняй, погоняй – заснул!

Жена его в ревности была страшна, рука у нее была тяжелая.

Заметив, что пение понравилось Сергею Львовичу, Надежда Осиповна сказала сквозь зубы:

– Какая старая! Точно комар.

В Захарове вся семья разбрелась в разные стороны. Сергей Львович с французской книжкой в руках гулял в рощице. Рощица была невелика, но туда девки ходили по ягоды. Надежда Осиповна сидела над прудом и часами смотрела на воду. Что именно привлекало ее внимание, оставалось загадкой для дворни. Александр же с гувернером бродили по дорогам. Марья Алексеевна разводила руками:

– Все врозь!

<sup>134</sup> *Курные избы* – избы с печью без дымохода.

<sup>135</sup> *Фермуар* – ожерелье или изящный замок для него.

Дети жили в дряхлом флигеле, в стороне от господского дома. В большой комнате помещалась Олинька с младшим, у Александра и Николая с гувернером была особая комната.

Олинька, востроносая, желтенькая, миловидная, была ханжой. Тетка Анна Львовна научила ее молиться утром и перед сном за папеньку, маменьку, братца Николинку, братца Лёлиньку и братца Сашку. Олинька была в дружбе с Николинкой, она с утра бегала в большой дом приласкаться к бабушке и матери, и Николинька с нею. Она с нетерпением семенила тонкими ножками, пока ее не замечали, и сразу приседала. Бабушка, которая однажды видела, как Олинька молилась, ожидая одобрения, осталась недовольна:

– Вся эта богословия Аннеткина да Лизкина – бог с ней. Мироносицы!

Николинька был любимец отца; с острым пушкинским носиком, который он уже потцовски вздергивал, когда горячился, вспыльчивый и слабый. С Александром он, случалось, дирался и бегал на него жаловаться отцу, который в свою очередь жаловался матери.

Ссора родителей была на руку Александру: его с Монфором на время забыли. Только бабка брала его за подбородок, смотрела долго, серьезно ему в глаза и, потрепав по голове, растерянно вздыхала.

Из его окна виден был пруд, обсаженный чахлыми березками; на противоположной стороне чернел еловый лес, который своею мрачностью очень нравился Надежде Осиповне – он был в новом мрачном духе элегий – и не нравился Сергею Львовичу. Господский дом и флигель стояли на пригорке. Сад был обсажен старыми кленами. В Захарове везде были следы прежних владельцев: клены и тополи были в два ряда – следы старой, забытой аллеи. В роще Сергей Львович читал чужие имена, вырезанные на стволах и давно почернелые. Часто встречалась на деревьях и старая эмблема – сердце, пронзенное стрелой, с тремя кружками – каплями, стекающими с острия; имена были все расположены парами, что означало давние свидания любовников.

Захарово переходило из рук в руки – новое, неродовое, невеселое поместье. Никто здесь надолго не оседал, и хозяева жили как в гостях. Сергей Львович впадал в отчаяние ото всей этой семейственной меланхолии и помышлял, как бы удрать.

Только бездомный Монфор чувствовал себя прекрасно: свистал, как птица, равнодушно и быстро рисовал виды Захарова, всё одни и те же – зубчатый лес, пруд, похожий на все пруды, а на месте господского деревянного дома – замок с высоким шпилем. Он часто водил Александра в Вязёмы, соседнее богатое село, где каждый раз обновлял запас своего бальзама. Говорливые крестьянки здоровались с барчонком; в селе много уже перевидали захаровских владельцев. Стояла в Вязёмах, накреньясь, колокольня, строенная чуть ли не при Годунове, рядом малая церковь, но даже старики не знали, кто их строил и что раньше здесь, в Вязёмах, было.

Умирая от безделья, Сергей Львович вздумал в праздник всю семью поехать в Вязёмы к обедне.

Дряхлая колымага, которая привезла Пушкиных в Захарово, загромычала по дороге, грозя рассыпаться. Бабы с удивлением присматривались к барам и отвечивали низкие поклоны.

– Вот коляска – что колокол, – говорили они, когда Пушкины проезжали.

Колокол в Вязёмах был разбитый.

Сергей Львович во время службы заметил бледную барышню, соседскую дочку, и украдкой метнул в нее взгляд, но барышня была пуглива и ускользнула незаметно. Сергей Львович остался недоволен сельским старым, полуслепым иереем, не выказавшим достаточного внимания к захаровским барам.

Вечером затеялся у него разговор с Монфором. Монфор полагал, что вера необходима для простонародья, но из духовных книг твердо знал одну: «Занятия святых в Полях Елисейских», а в ней более всего главу о маскарадах. Сергею Львовичу после вязёмской церкви при-

шлись по душе суждения Монфора. Он решительно почувствовал себя маркизом. Вечер кончился тем, что Монфор прочел стихи Скаррона<sup>136</sup> о загробной стране:

Tout près de l'ombre d'un rocher  
J'aperçus l'ombre d'un cocher,  
Qui, tenant l'ombre d'une brosse,  
En frottait l'ombre d'un carrosse<sup>137</sup>.

Сергей Львович был в восторге и потрепал по голове сидевшего рядом Александра.

В Вязёмах бывали базары столь шумные, что пьяные песни долетали до Захарова и огорчали Марию Алексеевну:

– Как на постоялом дворе, и никакого на бар внимания!

Она говорила это тихонько, втайне разочарованная своим новым поместьем. На захаровских помещиков окрестные мужики обращали мало внимания.

Александр и Николинька купались, слушали пение иволги в кустах, ходили с Монфором в Вязёмы обновлять запас бальзама, и однажды Александр, отстав, увидел чудесное явление: в реке купалась полногрудая нимфа, распустив волосы. Она то поднималась, то опускалась в воде. Сердце его забилося. Потом нимфу окликнули издалека:

– Наталья!

Она ответила кому-то звонко, приставив к губам ладони:

– Ау! – и снова стала подниматься и опускаться.

Вечером, в первосонье, кто-то поцеловал его в лоб.

Когда через два дня он встретил в рощице барышню в белом платье, с цветами в руках, он обомлел и почувствовал, что жить без нее не может и умрет. Монфор поклонился – это была барышня из соседней усадьбы. Он нетвердо знал ее фамилию – Юшкова, Шишкова, Сушкова? – *quelque chose*<sup>138</sup> на «-ова».

Александр стал ходить в рощицу, она долго не являлась. Наконец он решил, что она гуляет там по вечерам, и, обманув бдительность Монфора, при свете луны прошелся по знакомой дорожке. Она сидела на скамье и вздыхала, смотря на луну. Тонкая косынка вздымалась и опускалась у нее на груди. Это была та прозрачная косынка и те бледные перси<sup>139</sup>, о которых вместе с луною он читал в чьих-то стихах.

Она прислушалась; заслышав шорох, закрылась веером и громко задышала. Увидя Александра, она удивилась и засмеялась; она точно ждала кого-то другого. Щеки ее пылали, платье было легкое. Она заговорила с Александром. Он хотел отвечать, но голос у него пропал, и он в смятении убежал.

### 3

Сергею Львовичу мирная жизнь в Захарове да и самое Захарово очертенели. Он не был рожден для сельской тишины. Как-то он сказал за обедом, что должен спешить в Москву и если в Захарове задержится – карьер его потерян. Уехать, однако, ему не пришлось: в самый день его отъезда заболел Николинька и в три дня умер. Никто не был к этому приготовлен.

Когда хоронили брата, Александр смотрел по сторонам. Было теплое утро; малодушного отца под руки вели за гробом; Надежда Осиповна молча шла до самой церкви, никем не поддерживаемая. Олинька, глядя на отца, много плакала. Когда слезы не шли, она притворно и

---

<sup>136</sup> *Скаррон* Поль (1610–1660) – французский поэт.

<sup>137</sup> У тени скалыЯ заметил тень кучера,Который тенью щеткиТер тень кареты (фр.).

<sup>138</sup> Что-то (фр.).

<sup>139</sup> *Перси* – здесь: женская грудь.

жалобно всхлипывала; ей в самом деле было жаль братца. Маленького Лёвушку несли на руках, но и он ничем не нарушал печального чина: он спал. Один Александр был равнодушен. Он вместе со всеми приложился к бледному лбу и не узнал того, кого еще неделю назад дразнил. Странное спокойствие мертвеца поразило его. Это была первая смерть, которую он видел.

Древний старик в сермяге сидел на паперти и опирался на посох. Он низко, истово кланялся, и медяки падали к его ногам.

Пение птиц и белая каменная ограда были для Александра в это утро новы. Древняя звонница у церкви стояла накренясь, угрожая падением. Довременная тишина и спокойствие были кругом; вязёмские бабы теснились молча. Тут же, у церкви, Николинку и погребли. Мать прижала Лёвушку к груди и так вернулась домой.

С этого дня Надежда Осиповна изо всех детей замечала одного Лёвушку. Она не смотрела на Александра. Зато Сергей Львович теперь за него принялся.

Сергей Львович, ведя жизнь эфемера, не был подготовлен к несчастьям. Он ничего, кроме страха, не почувствовал и впал в удивительное малодушие. То болтал как ни в чем не бывало, то за обедом внезапно прыскал и разражался слезами. С горя он стал подолгу спать.

– *Que la volonté du ciel soit faite!*<sup>140</sup> – говорил он иногда с шумным вздохом и разводил руками.

Встревоженный и раздосадованный тем, что Александр не плачет, а также тем, что сам не всегда чувствует горе, Сергей Львович упрекал его в бессердечии и черствости. Надежда Осиповна, равнодушная ко всему, прислушивалась. Они примирились после смерти сына и сошлись взглядами на Александра и его поведение. Александр был холодный, бессердечный и неблагодарный; Монфор не имел на него влияния – *influence*, которого ожидали.

Не дождавсь осени, Пушкины выехали. В это утро Александр был особенно тревожен и перед самым отъездом пропал. Его нашли в роще; он сидел на земле, прижавшись к скамейке.

Загрохотала несчастная пушкинская колымага, рассыпавшаяся от сухости, намазаная, со стонущими колесами.

Бездомный француз, подкрепившись бальзамом, лепетал, сидя в одной телеге с Александром:

Oh! l'ombre d'un cocher!  
Oh! l'ombre d'un brosse!  
Oh! l'ombre d'un carrosse!<sup>141</sup>

## Глава седьмая

### 1

Рассветало – он просыпался. Ложный, сомнительный свет был в комнате. Белели простыни, Лёвушка дышал, Монфор сопел. Он прислушивался. Слух у него был острый и быстрый, как у дичи, которую поднимал охотник. Медленно скрипела по улице повозка – ехал водовоз. Наступала полная тишина – раннее утро.

Он быстро сползал с постели и бесшумно шел, минуя полуоткрытые двери, в отцовский кабинет. Босой, в одной сорочке, он бросался на кожаный стул и, подогнув под себя ногу и не чувствуя холода, читал. Давно были перелистаны и прочтены маленькие книжки в голубых

<sup>140</sup> Да свершится воля Неба! (фр.)

<sup>141</sup> О, тень кучера! О, тень щетки! О, тень кареты! (фр.)

обертках. Он узнал Пирона. В маленькой истрепанной книжке была гравюра: толстый старик с тяжелым подбородком, плутовскими глазами и сведенными губами лакомки. Он сам написал свою эпитафию: «Здесь лежит Пирон. Он не был при жизни ничем, даже академиком». Отчаянная беспечность этого старика, писавшего веселые сказки, смысл которых он уже понимал, понравилась ему даже более, чем шаловливый и хитрый Вольтер. Любимым героем его был дьявол, при одном упоминании о котором тетушка Анна Львовна тихонько отплеывалась. Однако дьявол у Пирона был превеселый мблodeц и ловко дурачил монахинь и святых. С огорчением он подумал, что в Москве нет человека, похожего на этого мясистого поэта.

Ему нравились путешествия. Он любил точность в описаниях, названия городов, цифры миль<sup>142</sup>: чем больше было миль, тем дальше от родительского дома.

На столе у отца лежали нумера «Московских ведомостей», которые получались дважды в неделю. Он читал объявления. Названия вин, продававшихся в винной лавке, – Клико, Моэт, Аи<sup>143</sup> – казались ему музыкой, и самые звуки смутно нравились.

Русских книг он не читал: их не было. Сергей Львович, правда, читал журнал Карамзина, но никогда не покупал его.

На окне лежал брошенный том Державина, взятый у кого-то и не отданный; прочтя страницу, он отложил его.

Однажды заветный шкаф привлек его внимание: ящик был открыт и выдвинут – отец забыл его закрыть. Он заглянул. Толстый, переплетенный в зеленый сафьян том лежал там, пять-шесть книжек в кожаных переплетах, какие-то письма. Книги и сафьянный том оказались рукописными, а письма – стихотворениями и прозой. Прислушавшись, не идет ли кто, он принялся за них.

Все было написано по-русски, разными почерками, начиная со старинного, квадратного, вроде того, каким писал камердинер Никита, и кончая легким почерком отца. Тетради эти подарил Сергею Львовичу еще в гвардейском полку его дальний родственник, кузен, гвардии поручик, который с тех пор куда-то сгинул; а потом уже Сергей Львович сам их дописывал. В тетрадях еще держался крепкий гвардейский дух табака.

Сафьянная тетрадь называлась: «Девическая игрушка», сочинение Ивана Баркова. Он отложил ее, твердо решившись прочесть со временем всю, и листнул тетрадь в кожаном переплете. Он прочел несколько страниц и, изумленный, остановился. Это было во сто раз занимательнее «Бьеврианы» с ее хитрыми каламбурами. На первой же странице прочел он краткие стихи, посвященные покойному императору Павлу:

Сколь Павловы дела премудры, велики,  
Доказывают нам то неври голики<sup>144</sup>...

На бюст его же:

О ты, премудра мать российского народа!  
Почто произвела столь гнусного урода!

Дальше следовали стихи о «свойствах министров»:

Хоть меня ты здесь убей,  
Всех умнее Кочубей.

<sup>142</sup> *Ми́ля* – единица измерения, равная 1609 км 34 см.

<sup>143</sup> *Аи* – название вина.

<sup>144</sup> *Го́лики*. – Так в Петербурге называли «голые», без деревьев, бульвары на Невском проспекте при Павле I.

Лопухин же всех хитрей,  
Черторынской всех острей,  
Чичагов из всех грубей,  
Завадовский – скупей,  
А Румянцев всех глупей —  
Вот характер тех людей.

Тут же был написан весьма простой ответ на изображение свойств министров:

Хоть меня ты убей,  
Изо всех твоих затей... и т. д.

Простодушные стихов, их просторечие показались ему удивительно забавны. В них упоминались имена людей, о которых иногда вскользь говорили отец и дядя Василий Львович в разговорах скучных, после которых Сергей Львович всегда был недоволен, – разговорах о службе.

### Послание к Кутайсову

Пришло нам время разлучиться,  
О граф надменный и пустой;  
Нам должно скоро удалиться  
От мест, где жили мы с тобой,  
Где кучу денег мы накрали,  
Где мы несчастных разоряли  
И мнили только об одном:  
Чтоб брать и златом и серебром.

Ему нравились быстрые решительные намеки в стихах, в конце каждого куплета, хотя он и не все в них понимал:

И случай вышел бы иной,  
Когда б не спас тебя Ланской.

Сатира на правительствующий Сенат поразила его своею краткостью:

Лежит Сенат в пыли, седым покрытый мраком.  
«Восстань!» – рек Александр. Он встал – да только  
раком.

Больше всего приглянулась ему по душе длинная песнь про Тверской бульвар:

Жаль расстаться мне с бульваром,  
Туда нехотя идешь...

Сначала говорилось о каких-то франтах, которых он не знал. И вдруг наткнулся он на имя Трубецких:

Вот Анюта Трубецкая  
Слома голову бежит;  
На все стороны кивая,  
Всех улыбками дарит.  
За ней дедушка почтенный  
По следам ее идет...

Не было сомнения: это было написано о Трубецких-Комод – деде и тетке Николиньки. Стихи, написанные о знакомых, показались ему необыкновенными. А на другой стороне листка торопливым почерком отца была изображена элегия, в которой Александр узнал прошлогоднее стихотворение дяди Василья Львовича. Во всем этом была какая-то тайна.

Все почти в тетрадах было безыменное (только на сафьянной было имя: *Барков*), иногда только мелькали внизу таинственные литеры, но они не были похожи на подписи в письмах или бумагах.

Уже на двор из людской вышла сонная девка и, позевав, плеснула водой себе на руки, уже кряхтение Монфора, собиравшегося выпить бальзаму, как будто раздавалось издали, а он, босой, в одной рубашке, читал «Соловья»:

Он пел, плутишка, до рассвету.  
«Ах, как люблю я птицу эту! —  
Катюша, лежа, говорит. —  
От ней вся кровь в лице горит».  
Меж тем Аврора восходила  
И тихо-тихо выводила  
Из моря солнце за собой.  
Пора, мой друг, тебе домой.

И правда, была уже пора. Он не чувствовал холода в нетопленной отцовской комнате, глаза его горели, сердце билось. Русская поэзия была тайной, ее хранили под спудом, в стихах писали о царях, о любви, то, чего не говорили, не договаривали в журналах. Она была тайной, которую он открыл.

Смутные запреты, опасности, неожиданности были в ней.

Зазвонил ранний колокол. Чьи-то шаги раздались. Ключ торчал в откидной дверце шкапа. Быстро он прикрыл ее, сжал в руке ключ и бесшумно пронесся к себе. Он успел еще броситься в постель и притвориться спящим. Сердце его билось, и он торжествовал. Монфор, пивший уже бальзам, погрозил ему пальцем.

## 2

В неделю тайный шкаф был прочтен. Всего страшнее и заманчивее был Барков.

По французским книжкам он постиг удивительный механизм любви. Тайны оказались ближе, чем он мог догадаться. Любовь была непрерывной сладостной войной, с хитростями и обманами; у нее даже были, судя по одной эпиграмме, свои инвалиды, которые переходили на службу Вакху<sup>145</sup>. Но у Баркова любовь была бешеной кабацкой дракой, с подножками, с грозными окриками, и утомленные ею люди, как загнанные кони, клубились в мыле и пене. В десять лет он узнал такие названия, о которых не подозревал француз Монфор. Он читал Баркова, радуясь тому, что читает запретные стихи; над тетушкой Анной Львовной, которая

---

<sup>145</sup> *Вакх* (гр.; Бахус – лат.) – в античной мифологии одно из имен бога виноградарства.

приказывала ему выйти всякий раз, когда Сергей Львович намекал за столом на чьи-то московские шалости, он смеялся, скаля белые зубы. Вообще в этом чтении была та приятность, что он стал более понимать отца. Он принимал войну, которую объявили ему отец, мать и тетка Анна Львовна.

Сергей Львович не заметил, что заветный шкаф не заперт. Все бо́льшая оброшенность была везде в доме; ничто не исчезало, все было на своем месте, но ему вдруг иногда казалось, что люди воруют, что кто-то залил его новый цветной фрак, и тогда, сморщив брови, он затевал бесконечные и тщетные споры и жалобы, кончавшиеся громкими вздохами и воплями. Так как он не мог кричать на Надежду Осиповну, он кричал на Никиту, который к этому привык. Новый фрак был старый, а залил его сам Сергей Львович.

Александр уже шел десятый год. Ольге – двенадцать. Пришлось поневоле нанять учителя, потому что Монфор не мог со всеми управиться. Учителю платили, его по праздникам приглашали к столу, а успехи были сомнительны. Поп из соседнего прихода, которого рекомендовала Анна Львовна, говорил, что Александр Сергеевич Закона Божия не понимает и катехизиса бежит. Надежда Осиповна и Сергей Львович, которые тоже мало разумели катехизис, с немалым отчаянием смотрели на Сашку.

Кроме того, детей нужно было одевать, и это было сущим проклятием и для Сергея Львовича, и для Надежды Осиповны. Покупать для Сашки и Ольки сукно на платье во французской лавке! Дети ходили в обносках. Арина кроила какую-то ветошь для Ольги, а Никита, который отчасти был портным, строил из старых фраков одеяния для Александра. Прохожий франт, зашедший в Харитоньевский переулок, до слёз смеялся однажды над курчавым мальчиком в худых панталонах стального цвета.

### 3

Василий Львович вел светскую жизнь и шел в гору. Парижское путешествие поставило его в первый ряд литераторов; наезжавший в Москву молодой, но сразу ставший известным Батюшков<sup>146</sup> подружился с ним. Очень часто говорили: Батюшков и Пушкин, а иногда даже: Карамзин, Дмитриев, Батюшков и Пушкин. Пирушки его вошли в моду. Повар Блэз готовил пирожки, а Василий Львович заготавливал шарады и буриме. Гости охотно смеялись и ели, а Сергей Львович, измучась постной жизнью, находил у брата все то, что, по существу, могло и должно было быть и его жизнью. По вечерам Василий Львович лобзал Аннушку и трудился над экспромтами. Аннушка все хорошела, родила дочку, которую Василий Львович нарёк Маргаритою и за которую друзья беспечно чокнулись, сшибая стаканы. Цырцея была забыта. С кудрявой головой, в парижском фракке, с экспромтами в карманах палевых штанов, он бросался в московский свет, картавил напропалую, как в Пале-Рояле, а ночью падал без памяти в теплые объятия Аннеты, то есть Аннушки.

Время вполне способствовало этому. Все были на поводу у французов, которых вчера еще ругали. Царь ездил в Тильзит и Эрфурт на свидание с Наполеоном («на поклон», как говорили в Москве, а старики даже ехидничали: «к барину»), и все разделились на партии: молодые ветрогоны были очень довольны этим порядком вещей, а старики негодовали; в одной молодой компании старого генерала, который вздумал назвать Наполеона «Буонапарте», все покинули, и старец, опираясь на костыль, сам принужден был кликнуть своего лакея.

У дам московских Василий Львович имел громкий успех.

– Oh, se volage de<sup>147</sup> Василий Львович! – говорили они и грозили ему пальцем.

Отчего он сразу сопел, таял и ерошил надушенную голову.

<sup>146</sup> Батюшков Константин Николаевич (1787–1807) – русский поэт.

<sup>147</sup> О, этот ветреник (фр.).

Аристократия, и старая и новая, давно махнула рукой на все русское, была на отлёте и единственным местом, достойным благородного человека, почитала международные странствия. Иезуиты<sup>148</sup> учили в петербургском пансионе молодых Гагариных, Голицыных, Ростопчиных, Шуваловых, Строгановых, Новосильцовых латинским молитвам и французской божественной философии. Барыни принимали спешно католицизм. Аббаты мусье Журдан и мусье Сюрюг были их наставниками. Соседский сынок, Николинъка Трубецкой, тоже теперь отвезен был к иезуитам в Петербург.

Сергей Львович с удовольствием прислушивался к французскому говору сына. Василий Львович полюбил с ним подолгу разговаривать: говоря с ним, он словно чувствовал себя на бульваре Капуцинок.

Московские старики шли, впрочем, на примирение. Они более не имели веса в Петербурге, были в отставке и небрежении и поэтому в оппозиции. Вскоре они принуждены были отнестись со вниманием к новому гению.

Он был близок к славе и упивался ею. Он был приглашен к Хераскову<sup>149</sup>, московскому Гомеру<sup>150</sup>, ныне жившему в отставке. В старинной гостиной, в полной тишине, прочел Василий Львович свое подражание Горацию – обращение к любимцам муз. Хозяин дома, названный в этом стихотворении Вергилием<sup>151</sup>, знал его заранее и одобрял.

Где кубок золотой? Мы сядем пред огнем!  
Как хочет, пусть Зевес вселенной управляет!

Это вольнодумство восхитило всех старичков: пускай там, в Петербурге, управляют без них вселенною как хотят! Где кубок?

Василий Львович читал с присвистом и, как Тальма, с сильным, но быстро преходящим чувством.

Где лиры? Станем петь. Нас Феб<sup>152</sup> соединяет.  
Вергилий русских стран присутствием своим  
К наукам жар рождает!

Эти науки были – университет московский, куратором которого состоял хозяин, а не пиитический вымысел.

Херасков видимо затрепетал, седины его зашевелились. Бывшие в доме дамы все, как одна, обратили свои взгляды к нему.

И я известен буду в мире! —

бодро произнес Василий Львович.

О радость, о восторг! И я... и я пиит!

<sup>148</sup> *Иезуит* – монах католического ордена «Общество Иисуса», основанного в 1524 г. И. де Лойолой.

<sup>149</sup> *Херасков* Михаил Матвеевич (1733–1807) – русский поэт.

<sup>150</sup> *Гомер* (VIII в. до н. э.) – легендарный древнегреческий поэт, создавший эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея».

<sup>151</sup> *Вергилий* Публий Марбон (70 до н. э. – 19 н. э.) – величайший поэт Древнего Рима.

<sup>152</sup> *Феб* – второе имя бога Аполлона.

Он совершенно обессилел и отер платком лоб. Вергилий поднимался в своих креслах. Все дамы, присутствовавшие на вечере, знали: сейчас поцелуем своим он передаст лиру Василию Львовичу.

Но тут Василий Львович ощутил в руке вынутый вместе с платком из кармана экспромт. Восторг охватил его. Экспромт удался ему вчера, как может удалиться только раз в жизни. Он почувствовал, что сделал все для прославления Гомера и Вергилия, и ему захотелось прочесть что-нибудь приятное и легкое для улыбки дам: обращение к любимцам муз было, может быть, несколько высоко для них. Не видя поднявшегося Хераскова, он сделал знак рукою. Все притихли. Поэт стал читать. Так важный миг был пропущен: Херасков снова уселся в кресла. Впрочем, услышав название, он принял вид благосклонный. Увлечение стихотворца! Он узнавал его! Поэт читал свое «Рассуждение о жизни, смерти и любви».

С первых же строк произошло замешательство.

Чем я начну теперь? Я вижу, что *баран*  
Нейдет тут ни к чему, где рифма – *барабан*;  
Известно вам, друзья, что галка – не фазан,  
Но вас душой люблю, и это не обман.

Василий Львович, чувствуя, что сейчас милые женщины и сам Гомер-Херасков улыбнутся, читал далее свое буриме:

Что наша жизнь? – роман,  
Что наша смерть? – туман,  
А лучше что всего? Бифштекс и лабардан<sup>153</sup>.  
А если я умру, то труп мой хищный вран  
Как хочет, так и ест...

Выпучив черные глаза и надувшись, сидел старец Херасков, московский Вергилий, пригласивший к себе для чтения нового гения.

Смерть – лютый зверь-кабан...  
Могила не диван,  
И лезть мне в чемодан...

Тут все московские дамы, из нежных и знающих литературу, бывавшие на вечерах у Хараскова, разом и вдруг прыснули. Чтец был счастлив.

Медленно, опираясь дрожащею рукою на свою трость – посох, старый поэт поднялся в негодовании. Щеки его покраснелись, как у дитяти. Он залпом выпил стакан холодной воды – кубок! – и покинул залу, не только не передав своей лиры, но даже не простившись.

Назавтра старый поэт отозвался холодно о Василье Львовиче:

– В голове туман. – И прибавил неожиданно: – И завит, как баран.

---

<sup>153</sup> *Лабардайн* – рыба, атлантическая треска.

## 4

Соперничество братьев кончилось. Один был в блеске и славе, признанный поэт и московский ветреник; другой опускался в неизвестности и, как говорила молодежь, – раб Гимена, под пантуфлею<sup>154</sup>.

Два известных чудака составляли всегдашнее общество Василия Львовича: кузен Алексей Михайлович Пушкин и князь Петр Иванович Шаликов. Один был вольтерьянец и насмешник самого острого свойства, другой, с косматыми бровями, – меланхоличен, нежен и вместе вспыльчив до бешенства. Первый одевался небрежно, второй щегольски и всегда носил цветок в петлице. Оба были в высшей степени оригиналы. Втроем с Василием Львовичем они появлялись во всех гостиных и возбуждали общее внимание. В особенности сблизился Василий Львович с кузеном, подтрунивавшим над ним, они оба были как бы дуэт; их так и звали: «оба Пушкина». Сергей Львович был лишний в этом дуэте, его, если он где-либо появлялся, звали: «брат Пушкина» – собственное бытие и имя Сергей Львович утратил. Он чувствовал это во всем: в том, как его осматривали в лорнет, как представляли. Он стал избегать мало-помалу «обоих Пушкиных» и норовил попасть на такой вечер или детский праздник, где их не было. Надежду Осиповну замечали, о ней шептались московские старухи, показывали на нее друг другу глазами, и Сергей Львович на минуту обретал прежнюю независимую походку. Втайне «брат Пушкина» мучительно ревновал брата к Алексею Михайловичу и завидовал братней славе. Он злобствовал и охладевал, теряя милые черты, а свет этого не прощал.

Василий Львович был очень рассеян, подобно всем московским поэтам, он догадывался последним о том, что было для всех ясно. Положение старшего брата льстило ему. Но когда Сергей Львович перестал являться в домах, где бывал ранее, он обеспокоился. Тут только он оценил выражение «раб Гименея» и почувствовал братнее падение в глазах общества. Будучи от природы косоглаз и быстр, он мало обращал до сих пор внимания на всех этих Sachka и Lolka, которые прыгали в комнатах брата. Как-то он увидел одного из них наряженным в странный костюм, изделия домашнего портного, придававший юнцу вид шута, d'un bouffon. Он рассмеялся тогда:

– Oh, c'est un franc original!<sup>155</sup>

Теперь он вдруг призадумался. Судьба Сергея до сих пор мало занимала его, но Пушкины должны везде быть приняты и блистать. Легкая неудача у старика Хераскова вовсе его не опечалила: ныне все были на отлёте, полуфранцузы, и на мнение закоснелых старцев он чихал. Он стал чаще бывать у брата и заставил себя обратить внимание на Сашку и Лёльку – ранее он путал их. Лёлька, еще младенец, обладал, оказалось, редкою памятью. Василий Львович прочел однажды в его присутствии один из своих экспромтов, и Лёлька тотчас все повторил:

Мы, право, весело здесь время провожаем:  
И день и ночь в бостон играем,  
Или всегда молчим, иль ближнего ругаем...  
Такую жизнь почесть, ей-богу, можно раем...

Беспримерная быстрая память! Это обещало в будущем стихотворца. Тогда к «обоим Пушкиным» впоследствии мог прибавиться третий, юный наперсник. На Василия Львовича произвел большое впечатление мадригал, который сказал «обоим Пушкиным» один француз на балу у старухи Архаровой:

<sup>154</sup> ...раб Гимéна, под панту́флею... – муж, раб Гименея (бога брака), у которого не сложилась служебная карьера.

<sup>155</sup> О, это настоящий оригинал! (фр.)

– Имя Пушкиных благоприятствует остроумию – esprit – и любви к словесности в вашей стране.

Лёлька был резов, Сашка упрям и дик. Впрочем, сестрица Аннет была, кажется, слишком строга к нему. Братец Серж тоже был в детстве несносен; авось и этот образуется; в нем иногда приметен здравый смысл.

## 5

Родители кочевали по гостиним. Здесь, дома, были только обрывки их существования. Дом был для них как бы постоянным двором, где можно дремать, зевать, ссориться, кричать на девок, на детей и, наконец, расположиться на ночлег. Они не догадывались, что этот дом и это существование было жизнью их детей и слуг.

Александр любил час перед выездом. Он присутствовал при вечернем туалете отца. Сергей Львович одевался в кабинете. Старый славный франт просыпался в нем. Быстро чистил он ногти пилкой и щеточкой, наблюдал, как Никита горячими щипцами завивал ему волосы а-ля Дюрок, управлял его движениями и делал весьма дельные и тонкие замечания. Потом, плотно обдернув новый фрак, он прохаживался по комнате, принимая разные выражения и цедя отдельные отрывистые слова. Мимоходом он взбивал волосы перед зеркалом и, увидя перед собой Александра, говорил фальшиво и снисходительно, с удивлением, относившимся к кому-то другому:

– А! И вы здесь? – И вылетал, шелкнув каблуками, из кабинета.

И вдруг все затихало. Мать выходила с блестящими глазами, быстро и легко. Отец, тоже нарядный, обращался с ней почтительно и небрежно, как с какой-то другой женщиной. Раз в полуоткрытую дверь Александр увидел, как отец, уже нарядный, завитой и напысканный, дожидаясь матери, напевая тоненьким голоском какой-то мотив и не зная, что за ним наблюдают, вдруг стал, что-то лепеча и улыбаясь, плавно приседать. Он танцевал. Вышла мать – как всегда перед вечером, с быстрым дыханием и блестящим взглядом. Отец, все так же плавно приседая, подхватил ее, и она тоже готовно и покорно поплыла рядом с ним на своих быстрых коротких ногах, сильно дыша тяжелой грудью. Потом мать остановилась, и они уехали.

В девичьей пели протяжную песню, Арина вздыхала и тихонько ворчала; в комнатах было холодно: топили редко, скупилась, дрова были в Москве дороги.

Иногда он спрашивал отца, куда они едут. Отец отвечал неохотно, цедя слова:

– К старику Белосельскому.

К старику Белосельскому, доживавшему свой век шумно и разнообразно и уже давно разорившемуся, ездили все.

– К Бутурлину.

Бутурлин был старый знакомый.

Голос сына был ему в такие минуты неприятен – отрывистый и резкий, и самые вопросы он почитал неприличными. Он ревниво оберегал от сына светские тайны. Но сын знал: это был свет чудесный, непроницаемый.

## 6

Но было и в этом холодном доме, и в этой кочевой семье время, когда все менялось, получало свой запах, цвет, вкус и значение. Это была зима. Первый снег производил впечатление неотразимое. Арина входила в комнату с важным выражением.

– Снег на сонных напал, – говорила она сокрушенно.

Снег выпал ночью, когда все спали.

– К чему бы это? – говорила неуверенно Надежда Осиповна. Она смерть боялась всяких примет и верила им безусловно.

Арина слыла у Аннибалов смолоду плясуньей и певуньей, а потом – первой гадалкой.  
– Зима тяжелая будет, – говорила тихо Арина.

Дети приумолкали. Сергей Львович тревожился и возражал:

– Как и чем она может быть тяжела?

– Снегу много будет, – говорила Арина нехотя.

– Всё вздор, – говорил Сергей Львович, бледнея.

– Разумеется, вздор, – повторяла в отчаянии Надежда Осиповна, чувствуя, что Арина недоговаривает.

К обеду первый лед оказывался крепким, не ломким по краям, и год объявлялся крепким. А снег, напавший на сонных, был только к большому снегу – и более ничего. Все веселели.

Нянька Арина знала многое, чего не знали родители, которые явно ее робели. Суеверная радость наполняла дом, и Александру втайне хотелось, чтобы нянька была права, чтобы зима оказалась тяжелой.

Белые хлопья покрывали черный, всеми к осени забытый и оставленный садик. Улица белела. Рано зажигались огни, в печке трещал десятками голосов огонь. Свечи горели особенно ясно, а дыхание, треск и шелканье разгорающихся дров заполняли комнаты. В камине тлели сизые угольки.

А там наступали Святки, плясала по улицам метель, звенели бубенцы, мчались тройки, гусары пролетали в розвальнях, смеялись и пели песни. Наступало время гаданий.

У Надежды Осиповны сон был всегда дурной и чуткий. Сергей Львович спал сном младенца, насвистывая носом одну бесконечную жалостную мелодию. К зиме учащались сны. Каждую ночь Надежде Осиповне снилось что-нибудь. В доме водился затрепанный том славянского письма, с черным Соломоновым кругом<sup>156</sup>, к которому Александр питал суеверный страх. Это был толкователь снов мудреца Мартына Задеки<sup>157</sup> – сонник. Каждый сон имел свое значение. Сны у Надежды Осиповны были длинные, путанные, и если начало сна сулило разорение и обман, то конец его предвещал нечаянное богатство. Сергей Львович тоже видел сны, но, как ни пытался их запомнить, всегда забывал. Только однажды удалось ему запомнить: он видел во сне старую адмиральшу Аргамакову. Надежда Осиповна раскрыла вещую книгу. «Старуха» сулила неприятности и обман друзей. Тогда она посмотрела на «адмиральшу» – и сон был разгадан. Адмиральшу видеть – сказал ей сонник – к ласкам. И сон Сергея Львовича сбывся.

Вообще сны Сергея Львовича были гораздо хуже и беднее, чем сны Надежды Осиповны. Иногда было трудно даже понять их значение. Раз во сне назвал он Надежду Осиповну каким-то посторонним женским именем и был к ней особенно ласков. Он было снова сказал, что видел во сне адмиральшу, но уж ему не верили. Долго потом он клялся, что все это поспритчилось Надежде Осиповне, что он назвал ее, как всегда, – Nadine, и не мог убедить. Две недели был он презрен, и только выезд в свет рассеял гнев Надежды Осиповны.

В сны свои Надежда Осиповна верила. Раз вышло ей свидание со старинным любовником, слезы, клятва, быстрый отъезд, дальний путь. Она проплакала весь день и часть ночи не спала. Сергей Львович, вздыхая, так и не осмелился спросить, кто таков старинный любовник. Надежда Осиповна и сама этого достоверно не знала – может быть, это был гвардеец, с которым было у нее тайное свидание еще задолго до Сергея Львовича, – свидание, едва не кончившееся катастрофой. Впрочем, вряд ли могло это быть. Он был давно женат и горький пьяница, а Надежда Осиповна никогда о нем не думала. Надежда Осиповна не знала, кто бы это мог быть, и плакала. Прошел месяц, два, и старинный любовник не явился; но все же он мог явиться: сны никогда не лгали. Подмена сна другим, подтасовки допускались.

<sup>156</sup> *Соломонов круг* – древнее гадание, создание которого приписывают легендарному царю Соломону.

<sup>157</sup> *«Мартын Задека»* – книга предсказаний и толкования снов Мартина Задеки, впервые изданная в 1770 г. в г. Базеле (Швейцария).

Так они изменяли и дополняли жизнь своими снами.

Иногда Надежда Осиповна после таких снов вдруг загоралась непонятным азартом, девки переставляли столы, гремели и скрежетали передвигаемые шкапы, расположение комнат менялось, как будто они переехали в другой дом, другой город.

Ничто в их жизни не менялось, и никуда они не переезжали.

Арина садилась с замусоленной колодой карт, вид которой всегда производил приятное волнение в Сергее Львовиче, давшем зарок не играть. Все вистовые онёры<sup>158</sup> чередой выходили перед ним.

– Для дома, для сердца, что сбудется, что минется, чем сердце спокоится.

Сбудется, выходило, дорога, а сердце спокоится хлопотами. Если выходил черный туз острием кверху, Надежда Осиповна без дальних разговоров смешивала карты, и Арина начинала снова. Для сердца выходил бубновый король, еще молоденький, а сердце успокаивалось деньгами и письмом из казенного дома. Может быть, какое-нибудь наследство? Так решалась судьба, так ее обманывали.

Монфор, приняв вид меланхолический, просил вежливо Арину погадать и ему, и Арина нагадала мусье опасность и бой от червонного короля.

Монфор не на шутку рассердился, когда ему перевели, и более не гадал.

Затаив дыхание, Александр сидел в уголке и следил за нянькиными умелыми руками. Лица родителей менялись – то бледнели, то улыбались. Такова была судьба.

Девки гадали и страшнее, и покорнее, и печальнее.

Однажды он видел их гадание. Родители уехали со двора, Арина проводила их. Монфор выпил своего бальзама и поднес стаканчик Арине.

– Слаб ты на ноги стал, мусье, – сказала Арина, поблагодарив, – всё балзам да балзам.

В этот вечер было все тихо, братца Лёльку и сестрицу Ольгу уложили спать. Арина сказала на ушко Александру, что сегодня будет гадание, чтобы он спал и не тревожился. Когда она тихо притворила дверь и вышла, он подождал немного, пока сестра и брат заснули, быстро оделся и бесшумно скользнул из комнаты. В сенях он накинул шубейку и напялил картуз. Он вышел во двор и притаился за дверью. Тут нагнал его Монфор. Монфор был любопытен не менее Александра, и оба стали поджидать за дверью. Сердце у Александра билось.

Арина шла двором по скрипучему снегу; он прокрался за нею. Она приоткрыла дверь в девичью и тихо, сурово сказала:

– Девки, выходите.

Теплый пар шел из людской, и одна за другой выбежали на мороз Танька, Грушка, Катька, держа в руках сапоги. Босиком бежали девки по чистому снегу, добежали до ворот и бросили каждая свой сапог далеко за ворота.

– Шалые, – сказала строго Арина, – нешто так здесь гадают, в городе? Кто ваш сапог сомнет? В какую сторону ни глянь – всё Москва. Покрадут ваши сапоги, вот тебе и все гаданье. Бери сапоги со снега, дуры вы, горе с вами! Мне и отвечать. Здесь по голосу гадать.

Тут она только заметила Александра и охнула. Он ухватился за нянькин подол, и с него было взято обещание ничего не говорить родителям.

– Не то пропаду я с вами, старая дура, – Лев Сергеич не проснулся бы, да и с вами, батюшка, горе.

Девки застыдились и не хотели гадать при барчонке и учителе.

– Александр Сергеич еще дитё, – сказала Арина, – при нем можно, а мусье блажной и не нашей породы. При них можно.

И девки рассыпались по переулкам.

---

<sup>158</sup> Вистовые онёры – в висте, карточной игре, козырные старшие карты, от десятки до туза.

Загадала Катька. Все было тихо, и вдруг издали послышался мелкий, чистый, дробный колокольчик – летели сани, летели и пропали.

Все девки громко дышали, а Катька заплакала и засмеялась.

– На сторону пойдешь, – сказала Арина одобрительно, – колокольчик чистый, к счастью, только далекий, не скоро еще.

Загадала Грушка – и вскоре из переулка послышался разговор и смех, три молодца шли, смеялись вполпьяна, и один говорил: «Ух, не робей!» Увидев девушек, засмеялись, один запел было и вдруг довольно внятно, с какой-то грустью и добродушием выругался.

Грушка стояла, расставив ноги и смотря на Арину каменным взглядом.

– Ничего, разговор хороший, не со зла, – сказала Арина, – к большому разговору это, надо быть к сговору. Голос хороший. А что ругался – так без сердца.

И Грушка тихонько всхлипнула.

Загадала Татьяна – и совсем недалеко, из соседнего дома, выбежал черный лохматый пес и залился со злостью, привизгивая, на мороз.

Девки засмеялись, Арина на них шикнула. Они оробели и замолчали.

– Муж сердитый, – сказала важно Арина, – гляди, лохматый какой собачище. Здесь такого раньше и не бывало.

Татьяна заревела вполрёва, уткнувшись в рукав. Монфор погладил ее по голове.

– Не плачь, – сказала Арина, – стерпится еще, вот и мусье тебя жалеет.

– Горькая я! – сказала Татьянка, захлебываясь и дрожа. Потом она вдруг повеселела и влепила звонкий поцелуй Монфору.

Девки засмеялись.

– Эх, пропадай! – И она обняла Монфора за шею.

Монфор смеялся со всеми.

Арина рассердилась и плюнула.

– Будет вам, охальникам! – сказала она сердито и повела Александра спать. – Не годится: маменька наедет, осерчает, и нам с вами, батюшка Александр Сергеевич, отвечать.

Он спросил няньку быстро: отчего Татьяна плакала?

– Сердитого мужа нагадала. Вчера лучины девки жгли, ее лучина неясно горит, невесело. Вот она и плачет. А вы, батюшка, подите спать, не то мусье заругает.

Александр долго не спал: Монфор не являлся. Наконец он появился, веселый, и тихо засмеялся в темноте. Он тихо окликнул Александра. Александр притворился, что спит, и француз стал раздеваться, тихо насвистывая какую-то песню. Потом он выпил бальзама. Стараясь не разбудить детей, он бормотал свою нескладную песенку:

Oh! l'ombre d'un brosse!

и, протяжно, счастливо зевнув, француз сразу же заснул.

А Александр не спал. Мороз, босые девичьи ноги, хрустящие по снегу, звук колокольчика, собачий лай, чужое горе и счастье чудесно у него мешались в голове. В окно смотрел московский месяц, плешивый, как дядюшка Сонцев. В печке догорали и томились угли; Арина тихонько заглянула в дверь, вошла и присела у печки погрести их.

Он заснул.

Он говорил и читал по-французски, думал по-французски. Лицом он пошел в деда-арапа. Но сны его были русские, те самые, которые видели в эту ночь и Арина и Татьяна, которая всхлипывала во сне: всё снег да снег, да ветер, да домовый возился в углу.

## Глава восьмая

### 1

Ему было десять лет. Нелюбимый сын, он жил в одной комнате с Монфором, учился всему, чему учились все в десять лет, и оживал только за книгами. Вдвоем со своим наставником они много гуляли, и Александр знал теперь Москву лучше Монфора. Знал и переулки, где дома были подслеповаты, как старички, сидевшие тут же, на скамеечках, и нарядный Кузнецкий Мост, и широкую Тверскую – дома там были большие, просторные, почти все в два этажа. Дрожки и кареты стояли у подъездов; мужики бойко торговали пирогами. Во французской лавке на Кузнецком Мосту блистали яркие шелка.

Прогулки были для него праздником. Однажды он видел странный выезд. На великолепном коне, окруженный богатою свитой, ехал старик. Конь был покрыт шитым золотом чепраком<sup>159</sup>; сбруя вся из золотых и серебряных цепочек. Свита, верхами, молча ехала. Старик курил трубку; лицо его было сморщенное. Ошеломленный Монфор поспешил поклониться, думая, что это прибыл турецкий посол. Оказалось, это старый Новосильцов гулял перед обедом; свита была его дворня. В другой раз они видели, как медленно ехала по Тверской карета кованого серебра, сопровождаемая толпой любопытных, – старик Гагарин ехал в Марьину Рощу.

В щегольских каретах, цугом, с арапами на запятках, проезжали московские бары; у Благородного собрания на Тверской была толпа колясок: съезжались московские чудачки. Опальные вельможи роскошно доживали век свой, не надеясь на непрочное будущее.

Монфор оглядывал в лорнет прохожих; походка его была неверная, руки дрожали. Он все более опускался. Арина защищала его и покрывала его слабости. Когда, с раскрасневшимся от бальзама лицом, пробираясь однажды вечером в девичью, он столкнулся с Надеждой Осиповной, Арина отвлекла ее вопросами хозяйственными. Случалось, француз наливал ей в кружку своего бальзама, и она, не морщась, осушала его за здоровье мусье и Александра Сергеевича.

У Монфора были сильные связи, граф де Местр, философ и иезуит, проживавший в Петербурге, покровительствовал ему. Даже когда Татьяна, плача, призналась в преступной склонности к графу, дело замяли, главным образом по лени, а Татьянку сослали в Михайловское, на скотный двор. Сошло с рук и другое: француз угостил раз воспитанника своим бальзамом. Рот приятно жгло, голова у Александра кружилась, и с губ сами рвались небывалые слова, стихи и смех. Учитель и ученик, мертвецки пьяные, заснули глубоким и приятным сном.

Погубило Монфора другое: он вздумал сыграть в дурачки в передней с Никитой и был застигнут Надеждой Осиповной. Возмутительным было то, что он играл именно в передней и с холуем. Никакое графство не спасло его.

Сергей Львович говорил, презрительно пожимая плечами:

– Сначала в дурачки, потом в «хрюшки», потом в «Никитишны», а там – и в «носки»! Не угодно ли?

Так он рисовал постепенное падение Монфора; старый игрок в веньтэнь<sup>160</sup>, говорил в нем.

Назавтра, увязав в баул свое имущество, француз простился с Александром, нарисовав ему на память борзую, а внизу написав по-французски: «Главное в жизни честь и только затем счастье» и проставив под этим изречением свой полный титул и фамилию.

<sup>159</sup> *Чепрак* – суконная или меховая подстилка под седло лошади.

<sup>160</sup> *Веньтэнь* – старинная карточная игра.

Было и еще одно обстоятельство, погубившее Монфора. Николинька Трубецкой, воспитанник иезуитов, приехал к родителям в краткий отпуск и посетил соседей. Черный бархатный камзолчик с кружевными манжетками был на нем. Говорил он теперь ровным, как бы сонным голосом, ни на миг не повышая и не понижая его, и, слушая этот ровный, приличный говор, Сергей Львович вдруг огорчился: его сын говорил по-французски резко, обрывисто, кратко и, как показалось ему, грубо. Для обоих французский язык был как бы родным, но Николинька говорил как аббат, а Сашка как уличный забияка. Николинька, рассказывая о чем-то, называл Поварскую, как француз, «*Povarskaïa*», а у Харитонья в переулке – «*Au St. Chariton*»<sup>161</sup>. Прощаясь, он сказал приятелю по-латыни: *vale*<sup>162</sup>. Сашке было далеко до него. Монфор был посрамлен как воспитатель.

Новый воспитатель был не похож на Монфора. Звали его Руссло.

С усиками, широкими ноздрями, гордый, он был самого высокого мнения о себе, и Арина с самого начала его возненавидела.

– Тот мусье был простец... – говорила она со вздохом, – пошли ему Бог здоровья, теперь небось загулял, а этот – жеребец.

Надежда Осиповна и Сергей Львович зато были другого о нем мнения. Надежда Осиповна мало теперь выезжала. Раз сидела она в утреннем чепце и кофте, рука ее приоткрылась, и француз не мог или не хотел скрыть своего восхищения. Она улыбнулась: обожание льстило ей. С этих пор мусье Руссло стал в доме царьком, султаном, ходил петухом. С Александром он говорил кратко и отрывисто. Выдавая себя за старого рубаку, он задавал ему уроки, точно командуя. Раз он выследил походы Александра в отцовский кабинет и, наказав его, прекратил их. Они мало гуляли теперь. Руссло засадил его за французские вокабулы<sup>163</sup> и арифметику. Руссло был автор, стихотворец, он с достоинством присутствовал при чтении Расина; Сергей Львович изредка еще позволял себе декламировать. Затем он сам читал свои стихотворения, которые всегда нравились Надежде Осиповне. Все без исключения они были посвящены гордой даме, прелести которой свели поэта с ума и которая недоступна. Одна элегия кончалась вздохом умирающего от любви поэта: *Ah, je meurs! Je meurs!*<sup>164</sup>

Надежда Осиповна за обедом подкладывала ему куски пожирнее. Мусье Руссло заметно порозовел и округлился.

Раз черная каретка остановилась у пушкинских ворот. Человек в черном, с желтым старческим лицом, изжелта-седой, с молодыми глазами, выглянул из кареты. Старый слуга-француз в облезлой ливрее сошел с запяток и спросил, дома ли граф Монфор, которого желает видеть граф де Местр.

Сергей Львович засуетился. Граф де Местр был бессменный посланник короля сардинского, лишенного, впрочем, владений, по слухам – иезуит, лицо видное в Петербурге и загадочное, философ.

Сергей Львович пригласил зайти графа де Местра. Старик пробыл у него всего минут пять. Услышав, что Монфора давно уже нет, и увидев мусье Руссло, низко ему поклонившись, старик посмотрел пронзительными живыми глазками на него. Сергей Львович обомлел: взгляд был умный, таким он и представлял себе иезуитский взгляд. Он стал бормотать о том, что граф Монфор, к сожалению, выехал, и о трудности в настоящее время дать детям воспитание. Постепенно Сергей Львович разговорился. Он очень любил графа Монфора и не переставал сожалеть о его слабостях, вполне извинительных, но нетерпимых в воспитателе. Законы требуют всё больших познаний, и голова идет кругом, когда думаешь о воспитании детей.

<sup>161</sup> У святого Харитония (*фр.*).

<sup>162</sup> Прощай (*лат.*).

<sup>163</sup> *Вокабулы* – иностранные слова, выписываемые с переводом на родной язык для заучивания.

<sup>164</sup> Ах, я умираю! Я умираю! (*фр.*)

Привычным внимательным взглядом старик посмотрел на мальчика и, рассеянно улыбувшись, снова воззрился на Руссло.

– Воспитывать должно не ум, – сказал он, глядя на Руссло, – Руссло приосанился, – это притом очень трудно; и не то, что слывет умом, – Руссло посмотрел в сторону, – не должно обременять дитя пустыми знаниями. Воспитывать должно совсем другое. Вы знаете плоды воспитания в Париже.

Потом он поежился от холода, натянул на худую шею черный платок и ушел, оставив всех в недоумении.

Вскоре каретка де Местра скрылась в Харитоньевском переулке.

Сергей Львович стал всем рассказывать о посещении графа де Местра. Не обращая внимания на Сашку, на Лёльку и почти ничего не зная о существовании Ольки, он стал повторять, что воспитание в теперешнее время – дело претрудное и что иезуиты совершенно правы, когда утверждают, что главное – это не ум, а вкус. Бог с ними, с науками! Граф де Местр трижды прав.

Мнение это и в особенности сообщение о визите графа де Местра выслушивали со вниманием.

– В последний раз, когда граф де Местр был у меня... – говаривал Сергей Львович.

## 2

Неожиданно все в Москве переменялось; самый воздух, казалось, потеплел. Гордости у стариков как не бывало; всех стали приглашать, всем улыбаться, обновились старые связи, припомнилось родство. Сергей Львович вдруг вспомнил, что их дворянству шестьсот лет, а то и без малого тысяча, и опять развязал свой список грамот. И вскоре согрел его сердце давно им не виденный Карамзин.

Причина всему – государственная, Петербург.

Москва была на отшибе, доживала; старики громко ворчали, как ворчат на людях глухие, думающие, что их не слышат; как человек выходил в отставку, он норовил переехать в Москву, чтобы иметь возможность ворчать. Всем в Москве правили старухи. Москва была бабье царство. Жабами сидели они в креслах в Благородном собрании и грозно поглядывали вокруг. У каждой был свой двор и свои враги; они все помнили, всех знали. Суждения Офросимовой и анекдоты о Хитровой заменяли Москве ведомости, которые читали только во время войн. Всю зиму была здесь ярмарка невест. Усадив их в возки и бережно подоткнув со всех сторон, везли этот редкостный товар осенью по широким дорогам в Москву, и у застав возки останавливались. Золотились главы церквей, зеленели сады, и у невест ёкали сердца. Потом их показывали московским старухам, и те, оглядев, брали их под свое покровительство. Вскоре на каком-нибудь балу девичья судьба решалась. Старухи судили, рядили, разводили и вновь сводили. Все рабы Гименея, мужья под пантуфлею, разорившиеся игроки, люди, у которых почему-либо не открылась карьера, составляли средний возраст Москвы. Сергей Львович прекрасно себя чувствовал в Москве и бранил Петербург. Ворчать и переносить новости было его страстью, страстью среднего возраста и состояния Москвы.

Молодежь в Москве – вздыхатели, лепетуны, ветрогоны. Разговор у них изнеженный, все мужчины избегали грубых звуков и сюсюкали. Говорили: женщина, нослег.

В Петербурге был Двор, было государство, и самая литература была в Петербурге другая: там сидел сухопутный адмирал Шишков, который издевался над московскими вздыхателями, не щадил и самого Карамзина; он ополчился на всех учителей-французов, на модные лавки и

советовал читать Четьи-Минеи<sup>165</sup>. На Фонтанке еще кряхтел Гаврило Романович Державин и писал длинные реляции потомству об оде.

Но дело было не в них, не в стариках, и даже не в молодых. Дело было в том, что, пока Москва вздыхала, обжиралась на Масленной блинами и удивлялась пирожкам Василия Львовичева Блэза, к власти пробрался нежданно-негаданно и сел крепко Подьячий. Так называли старики Сперанского<sup>166</sup>.

Сначала пошли слухи о том, что царь везет с собою «на поклон» Подьячего, потом слухи подтвердились. Потом прошел слух, что сам Буонапарт говорил с Подьячим и был будто до крайности любезен. Тут старики, хотя и всячески корили Наполеона, почувствовали себя обойденными, а потом решили, что Подьячий с Наполеоном спелись. И когда последовали указы – один за другим, – всем старцам стало ясно: Наполеонова эра настала. Первый указ был о придворных званиях, второй – о гражданских чинах. Со времени Екатерины существовал высокий свет. Высокие светские люди проводили жизнь в светских занятиях; в колыбели получали звание камер-юнкера<sup>167</sup> и с ним чин пятого класса<sup>168</sup>; младенцы улыбались дородным мамкам, переходили в руки нянь, становились камергерами<sup>169</sup> и получали чин четвертого класса. Зато свободное время образовывало их вкус, со временем они могли быть замечены статс-дамою Перексихиной, а если этого не случалось, они наконец приступали в высоких чинах к государственным делам. Таковы были дворянские вольности.

3 апреля 1809 года Подьячий, который теперь утвердился в Петербурге, издал указ и всему положил конец. Звания камер-юнкера и камергера впредь не давали никакого чина и считались только отличиями. Вместе с тем всякий был обязан избрать в течение двух месяцев род действительной службы, а не изъявившие желания считались в отставке. Множество благородных людей, которые ни в чем не изменили ни своего образа жизни, ни мыслей, вдруг, через два месяца, оказались в отставке. Три поколения Трубецких-Комод, которые все имели звания и числились на службе, сидя, как всегда, у себя в Комоде, оказались отрешенными. Везде в домах было сильное волнение. Тот самый старик, который звал Наполеона Буонапартом, грозился поехать в Петербург бить кутейника<sup>170</sup>. Более же всего озлобили налоги, которые росли со дня на день.

– Отъедается, – говорили не то о Сперанском, не то о царе, – хуже покойничка Павла.

Летом, когда в Москве старики только и говорили что о налогах и грозилась умереть, только бы не платить, Подьячий издал второй указ. Впредь никто не мог быть произведен в чин коллежского асессора<sup>171</sup> без экзаменов и какого-то свидетельства. Сословие чиновников приглашалось бросить все застарелые привычки, все свои цели и вместо домашних бесед с доброхотными дателями готовиться к экзаменам по праву естественному и начальным основаниям математики.

Теперь восстало все «крапивное семя»<sup>172</sup>.

Говорили, что один повытчик<sup>173</sup> публично плакал в присутственном месте, на Прудках, отирая слезы большим красным фуляром и привлекая этим общее внимание. Вместе с тем, не

<sup>165</sup> *Четьи-Минеи* – сборник XVI в. из 12 книг, на каждый месяц года, включающий в себя жития святых, святоотеческие поучения и апокрифы.

<sup>166</sup> *Сперанский* Михаил Михайлович (1772–1839) – государственный деятель, реформатор, законодворец.

<sup>167</sup> *Камер-юнкер* – один из низших придворных чинов.

<sup>168</sup> *Чин пятого класса* – гражданский чиновник 5-го класса в Табели о рангах, учрежденной Петром I в 1722 г. и содержащей перечень соответствий между военными, гражданскими и придворными чинами по 14 классам.

<sup>169</sup> *Камергер* – придворный чин 2-го класса.

<sup>170</sup> *Кутейник* – человек, отец которого имел духовное звание.

<sup>171</sup> *Коллежский асессор* – гражданский чин 8-го класса.

<sup>172</sup> «*Крапивное семя*» – прозвище чиновников-крючкотворов и взяточников.

<sup>173</sup> *Повытчик* – должностное лицо, ведавшее делопроизводством в суде; столоничальник.

видя перед собою дальнейшей цели существования и отчаявшись в сдаче экзаменов, а стало быть, и в получении чина коллежского асессора, приказные стали требовать такой mzды, что уж это одно само по себе могло поколебать основы государства. Все это имело важные последствия.

Московские бары, которые при издании первого указа во всем винили «крапивное семя», стали теперь звать Сперанского поповичем и расстригой.

Разные вкусы и наклонности в виду общей опасности временно забыты. Движение на улицах Москвы усилилось: с утра все выезжали, чтобы узнать общее мнение. Сергей Львович стал ходить по утрам в должность. Все канцелярии теперь были заняты тем, что переписывали новые стихотворения на Сперанского. Сергей Львович каждый день приносил что-нибудь новое и по прочтении запирал в свой тайник.

Стихотворения были довольно острые. Одно – о канцелярском плаче, называлось «Элегия»:

Восплачь, канцелярист, повытчик, секретарь!

В нем был едкий стих, который сразу вошел в поговорку:

О чин асессорский, толико вожделенный!

Стихотворение было, впрочем, написано более в насмешку над приказными и, видимо, в защиту указа, но чиновники на первых порах не разбирались и переписывали все, что попадалось об указах, «яко противудейственное».

«Мысль унылого дворянина» более понравилась Сергею Львовичу; все написано дурными стихами, но сильно выражено:

От Рюрика поднесь дворян не утесняли,  
Зато Россию все владычицей считали.

О «сыне поповском» там было сказано, что он «как мыльный шар летает» – а далее: «искусственным мечом Россию поражает и хаос утверждает».

Эпиграмма на Сперанского была в другом роде – коротка, ее писал брат того генерала, который звал Наполеона Буонапартом:

Велики чудеса поповский сын явил:  
Науками он вдруг дворян всех задавил.

Наук испугались все. Лекари учились медицине, попы – богословию. Бывали и среди дворян чудаки или меценаты, которые читали по-латыни, но учиться по обязанности наукам, как лекари, – не дворянское дело. Дворянин получал чины по душевным качествам и заслугам. Не было никакой связи между наукой, дворянством и званием. Семинарист учредил хаос и все перевернул.

Сергей Львович негодовал почему-то более других. Мысль, что камер-юнкер и камергер теперь будут не чины, а звания, была особенно для него невыносима, хотя ни он и никто из родни не были ни тем, ни другим. Он не находил слов для возмущения.

– Этот приказный, *cette canaille de*<sup>174</sup> Сперанский, – говорил он о Сперанском, как будто тот служил у него ранее под начальством, и произнося эту фамилию в нос.

---

<sup>174</sup> Этот негодяй (фр.).

Вообще это было в характере Сергея Львовича – он охотно ввязывался в любую оппозицию. Порою он ворчал перед камином, совсем как матушка Ольга Васильевна. Однажды он даже дословно ее повторил: фыркая, сказал, что все несчастья начались с Орловых, – полезли в знать, и началась неразбериха. Что ни говори, а звание дворянское дает право на светскость; светскость же или, как маменька Ольга Васильевна говорила, людскость, – всё! Это и любезность, и умение блистать, и остроумие. А кто этого не понимает, с тем говорить не стоит. И хотя исторические понятия Сергея Львовича были смутны, у него были сильные чувства.

В эти месяцы много перьев скрипело в Москве: приказные переписывали стихи, дворяне писали царю. Даже Сергей Львович, сидя в своей комнате над чистым листом бумаги, написал как-то тонким пером: *Всемилоостивейший Государь!* – но далее у него не пошло.

Все ждали, что скажет Карамзин.

### 3

Старые друзья говорили, что он сделался молчалив и горд. Чувствуя, что связи со всеми рушились и что предстоят важные труды, он надолго покидал Москву. Наконец удалось ему основать свой Эрмитаж, наподобие Руссова, в тестевом имении Остафьеве. Обширный сад, проточный пруд, густые липы заменили ему там друзей. Молодая добрая жена стала теперь для него Клеей, музой истории. В Москве начали относиться к нему с боязнью. Изредка приезжал он сказать два-три важных слова, обронить замечание, улыбку. Снисходительность к людским порокам была в нем теперь главной чертой. Добряк Сонцев, муж сестрицы Лизет, боялся его как огня. Теперь смятение московское вызвало его на несколько недель из уединения.

С радостью появился к нему Сергей Львович. Они давно не видались. Он долго думал, какой час избрать для посещения, потому что боялся помешать, и выбрал час меж волка и собаки<sup>175</sup>. Московские стишки, после некоторого размышления, он сунул в карман, надел новый фрак, вздохнул и поехал.

Он был принят прекрасно. Никого не было. В полутемной комнате на простой мебели сидели они в полутьме, и Карамзин не зажег свечей. Карамзин мало говорил. Казалось даже, он дремал, сидя в глубине покойного кресла. Зато говорил Сергей Львович – обо всем. И прежде всего о диких выходках петербургского адмирала Шишкова, шумно ругающего Николая Михайловича и недавно написавшего, что братец Василий Львович – безбожник, распутник и враг престола.

Карамзин улыбнулся, слабо выразив одобрение. Он вовсе не был галломаном. Соседство имен его и Василья Львовича было несколько смешно.

Он спросил Сергея Львовича о здоровье милой жены его. Сергей Львович поблагодарил сердечно и пожаловался на трудность воспитания детей. Теперь, когда требуются от дворянина экзамены и науки, дрожишь за их будущность. Граф де Местр, который недавно был у него, пожалуй, прав: важно воспитание чувства вкуса, уважения к родителям, а остальное – о, бог с ним! Он, как отец подрастающего сына, очень это чувствует.

Тут Карамзин мягко предостерег его: нельзя смешивать понятия, различные в существе своем, – одно дело – экзамены и другое – просвещение. Ни Шекспиров<sup>176</sup>, ни Боннетов<sup>177</sup> без него быть не может. Изящный ум ближе к природе, чем невежество. Благородные должны это наконец понять. О графе де Местре он сказал с некоторой холодностью, что не знал о пребывании графа в Москве. Но экзамены – увы! – как надолго повредят они самим наукам!

Сергей Львович вскоре не утерпел и прочел Карамзину «Мысль унылого дворянина».

<sup>175</sup> Час меж волка и собаки – сумерки (день – время собаки, ночь – время волка); от 3 до 4 ночи.

<sup>176</sup> Шекспир Уильям (1564–1616) – крупнейший английский драматург и поэт.

<sup>177</sup> Боннет Сид (1688–1718) – английский поэт.

Карамзин, казалось, оживился. Он со вниманием слушал стихи и попросил листок, чтобы перечесть. Щеки его окрасились. Вскоре тихим голосом он стал объяснять Сергею Львовичу с терпением и кротостью смысл происходящего.

Сидя в полутьме, Сергей Львович не шелохнулся. Он с жадностью вслушивался во все, что говорил Карамзин, и все это возвышало его, укрепляло. Он сидел, важно оперши щеки на белые воротники, позабыв о Надежде Осиповне, Сашке и Лёльке, долгах и своей квартире. Он был снова тем, чем ему быть надлежало, – шестисотлетним дворянином, человеком светским, одним из тех, с которыми говорят, которых приглашают. От приятности этого сознания он половины из того, что говорил Карамзин, не слышал. Он только смеялся от души тонким насмешкам над Подьячим.

В полутьме, не зажигая свечей, Карамзин говорил, что ныне председатель гражданской палаты обязан знать Гомера и Феокрита<sup>178</sup>, секретарь сенатский – свойства кислорода и всех газов, а вице-губернатор – Пифагорову фигуру...

Сергей Львович тихо засмеялся.

– Надзиратель же сумасшедшего дома – римское право...

Это Сергей Львович постарался запомнить.

– Кислород, Пифагор, надзиратель... – повторил он одними губами.

Между тем никто не заметил, что указ и «разум указа» написаны безграмотно, слогом цветистым, лакейским – семинарским, если так можно сказать.

Сергей Львович вспомнил чистый лист бумаги и на нем обращение: *Всемилостивейший Государь!*

Он признался в своей дерзости Карамзину, краснея, как школьник, сознающийся в шалости, счастливый, уверенный, что все это вызовет одобрение. Он собирался писать государю... Голос сердца! Великий Боже! Но все почти собираются в Москве писать государю...

Карамзин замолчал. Он молчал, отвечая на лепет и смех Сергея Львовича осторожным кашлем. Стало совсем темно. Карамзин не шевелился в своем кресле. Не дремал ли он? Только когда Сергей Львович стал прощаться, он слабым голосом, но совершенно холодно попросил передать поклон милой жене его.

Сергей Львович вышел недоумевая: почему, вначале почтя его такой душевной беседой, Карамзин охладил к нему в конце? Но Карамзин и сам уже много недель сидел над листами бумаги в своем остафьевском уединении; он и сам писал государю о том духе, который Подьячий вносил в течение истории государства Российского.

#### 4

Вернувшись от Карамзина, Сергей Львович в сенях наткнулся на Александра. Вид сына озадачил его.

Тотчас, брызгая и торопясь, он рассказал Надежде Осиповне о своей беседе и передал поклон.

– Воспитывать должно изящный вкус, – сказал он решительно, – это образует человека.

Надежда Осиповна в важных делах не возражала мужу. Он ставил ее в тупик странной решительностью: Сергей Львович не всегда решался на поступки, но если уж решался, не терпел промедления, горел и фыркал, как ракета. В тот же день отдали портному на Немецкой улице шить из фрака Сергея Львовича новый костюм для Александра. Надежда Осиповна прикупила кружева во французской лавке. Она долго одевалась перед зеркалом и с утра уходила делать покупки. Все оживилось. Детей начали воспитывать по-новому. Наконец костюм был готов. Надежда Осиповна в лорнет оглядела Александра и повздорила с немцем-портным. Сер-

<sup>178</sup> Феокрит (ок. 300 – ок. 260 до н. э.) – древнегреческий поэт.

гей Львович успокоился на неделю. Но, побывав у Бутурлиных, Сушковых и еще у кой-кого, он однажды вдруг обнаружил, что благородных детей учат танцам у Иогеля.

Иогель был модный танцмейстер. Он первый в Москве начал по-настоящему учить детей танцам, у него устраивались детские маскарады, родители свозили своих сыновей и дочек к Иогелю; костюмы шились по его совету – английские адмиральские и а-ля тюрк; парики, трюглы – всё предусматривалось заранее нежными матерями и портными.

Зала Иогеля была ярко освещена. Сам Иогель, высокий сторбленный старик, в черном фраке, выступал и играл на крохотной карманной скрипочке. Дети прыгали с равнодушием, свойственным этому возрасту, в правильных танцах. Вокруг сидел ряд московских старух, которые осуждали родителей и, подзывая детей, кормили их пряниками, тут же доставаемыми из мешочков. Вечера Иогеля постепенно вошли в моду. Старухи ругали немца за то, что плохо учит детей, – мальчишки толкуются, а девчонки мечутся как угорелые; матери семейств ругали его за дорогую плату – и, поставив мушку на щеку, ездили к нему на вечера.

Сергей Львович сказал Надежде Осиповне, что они должны свезти Александра и Ольгу к Иогелю. Надежда Осиповна с восторгом согласилась. Решено нарядить Александра туркою, а Ольгу гречанкой. Надежда Осиповна три дня ездила по модным лавкам. Шелк, который она купила для детских маскарадных платьев, был очень дорог. Она любовалась им два дня и наконец решила оставить для себя. Сергей Львович закусил губу. Ему смерть хотелось побывать у Иогеля. Однажды за обедом он объявил, что детей согласился обучать танцам славный танцмейстер Пэнго.

– Гораздо лучше Иогеля, – сказал он неуверенно. – Иогель – старый мошенник, и ничего более.

Тетушка Анна Львовна, приехавшая к обеду, была поражена братом, ничего не жалевшим для воспитания детей.

– Ах, Сергей, Сергей, ты пожалеешь, – говорила она.

Сергей Львович и сам немного был озадачен приглашением Пэнго.

Он ходил из угла в угол, а Анна Львовна внимательно смотрела на детей. Они, казалось, не в состоянии были оценить родительских забот.

Никита зажег в гостиной свечи, и славный Пэнго появился. Он был малого роста, худ, с точеными ножками, в башмачках с пряжечками, в шелковых чулках. Он был очень стар, но бодрился, хотя голова его и дрожала.

Мать взяла за руку Ольгу и Александра и вывела их на середину комнаты, Анна Львовна села за клавир, и урок начался.

– Glissez!<sup>179</sup> Glissez! – говорил разбитым голосом славный Пэнго и шаркал. Ноги его были нетверды, он приметно тряс головою и был похож на кузнечика, который хочет прыгнуть и не может.

С непонятным отвращением Александр вел испуганную Олиньку, которая старательно приседала и лепетала беззвучно:

– Un, deux, trois...<sup>180</sup> Un, deux, trois...

Сергей Львович смотрел на славного Пэнго, не обращая внимания на дочь и сына; Анна Львовна прилежно стучала в старый клавир.

– Tour sur place!<sup>181</sup> Tour sur place!

Пэнго остановил детей. Они шли, сбиваясь с такта, не в ногу и не умели вертеться. Приподняв фалды фрака, он изобразил на лице свою улыбку. Так улыбаться должна была Олинька. Холодно поблескивая глазками в морщинах, он прошелся независимой легкой пету-

<sup>179</sup> Скользите! (фр.)

<sup>180</sup> Раз, два, три (фр.).

<sup>181</sup> Поворот на месте! (фр.)

шиной поступью, все время качая от старости головой. Так должно было выступать Александру. Потом медленно стал кружиться. Угрюмо и равнодушно, поглядывая исподлобья на родителей, мешковатый и рассеянный, Александр путался и сбивался с такта.

Тетка играла и кланялась при каждом такте, упрямо пристукивая каблучками.

– En avant!<sup>182</sup> En avant!

Пэнго утомился и вытер лоб белым кружевным платочком. Он уселся в кресла.

Тут Надежда Осиповна поднялась. Давно уже она покусывала платочек, и лицо у нее шло пятнами. Она смотрела на детей сквозь туман, слезы стояли у нее в глазах. Весь день ей было не по себе – так сказали потом Пэнго. Теперь она смотрела на своих детей, оскорбленная, сбита с толку. Она всегда была или казалась самой себе красавицей, ее звали франты *la belle créole*. Этот мальчик с обезьяньими глазками и матовой кожей, с угловатыми движениями, почти урод – был ее сын. Худенькая длинноносая девочка с сутулой спиной, с бегающими глазками, с плоскими бесцветными волосами была ее дочь. И, чувствуя непонятное отвращение, гнев, горькую жалость к себе, она поднялась, крепко схватила за ухо сына, за шиворот дочь и швырнула их за дверь, как швыряют котят.

– Урод! – сказала она, сама не слыша.

Пэнго поднялся.

– Дети бывают способны и неспособны, но по первому менуэту нельзя судить танцора. Славный Дюпор<sup>183</sup> также в нежном возрасте был неловок.

Пэнго говорил, как танцевал, – машинально. Он двадцать лет учил одному и тому же и привык ко всему.

Анна Львовна насильственно улыбалась французу. Она была оскорблена странным поведением невестки: при французе не следовало так вести себя.

Сергей Львович помчался к Надежде Осиповне, как всегда ничего не понимая. Она уже успокоилась.

Славный Пэнго более не приглашался. Олинька немного похныкала, но быстро успокоилась: она привыкла к выходкам матери. Перед сном, в постели, Александр вдруг громко вздохнул – так не вздыхают дети.

Мать не любила смотреть на него, иногда отводила взгляд, как бы смущаясь; он всегда уклонялся от ее прикосновений. Он не думал об этом и все вдруг понял. Он был урод, дурен собою. Это глубоко его тронуло. Он вспомнил, как шел под музыку с сестрой Ольгой, и заплакал от унижения. Никто в этот час не подошел к его постели: Арина была где-то далеко. Француз сидел у стола и с внимательным угрюмым видом, отрешась от всего, чистил ногти маленьким ножичком и щеточкой.

## 5

Василий Львович пригласил брата к обеду. Надежда Осиповна была больна. Сергей Львович взял с собою сына. Он не хотел его брать, да Надежда Осиповна навязала. Если бы Сергей Львович отказался, она бы подумала, что ее обманывают и обед – с какими-нибудь вольными балетными или французскими актерками. Скрепя сердце он взял с собою Александра. Между тем обед у Василья Львовича был без дам. Новые его приятели даже славились по Москве тем, что не любили женщин, были мизогины<sup>184</sup>.

Приятели эти были самые модные люди. Все они занимали должности «архивных юнкеров», а звали их просто «архивные». Самая должность их также была модной: они служили или

---

<sup>182</sup> Вперед! (*фр.*)

<sup>183</sup> Дюпор Луи (1782–1853) – французский танцовщик.

<sup>184</sup> *Мизогин* – мужчина, который испытывает непреодолимую потребность в полном и неразделимом контроле над женщиной.

числились в архиве иностранных дел, который был теперь питомником благородных юношей. Все они обучались у немцев, в Гёттингенском университете, и поэтому их звали еще «гёттингенцы» или просто «немцы». Теперь их одного за другим переманивал из Москвы в Петербург Иван Иванович Дмитриев, который был «в юстице», как говорили старики, министром. В Москве они бывали наездами. И манеры их, и привычки, и вкусы – все было новостью. Они были вежливы, много и тихо говорили между собою по-немецки, как бы воркуя. Меланхолия была у них во взглядах, они с нежностью смотрели друг на друга и с высокомерием на остальных.

Василий Львович вздумал было на первых порах возмутиться, потом удивился, но вскоре понял, что это самая новая, самая последняя мода, а он со своими фракками и фразами из Пале-Рояля уже несколько устарел. По природе и сердцу своему он был модник. Он признал новые светила. Они к тому же были вежливы, «милы» – как стали о них говорить, не то что юные московские негодяи из клубов, от которых он едва отделался. Они слыли в Москве «тургеневскими птенцами» и «дмитриевским выводком», а он, как и все, уважал старика Тургенева и Дмитриева.

Больше всех подружился он с Александром Тургеневым, с которым нашел какое-то сродство душ: молодой Тургенев был охоч до еды, хлопотлив, непоседлив и мил, с висячими щеками и обширным животом; он всюду носился и развозил новости. Характер его был безмятежный: он любил умиляться, и крупные слезы тогда падали у него из глаз, а за столом, после обеда, часто задремывал. Гёттинген и немцы были у него на языке, но по свойствам он был вполне понятен Василью Львовичу: прожорлив, забывчив и скор.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.